

Библиотека Института современного развития

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

*Материалы круглого стола,
проведенного Институтом современного развития
совместно с московским офисом Института Кеннана
на тему: «Социокультурные особенности российской
модернизации. Сбылись ли прогнозы Дж.Ф. Кеннана?»*

Москва, Институт современного развития,
26 мая 2009 года

Москва
Экон-Информ
2009

УДК 316.422
ББК 60.524
С69

С69 Социокультурные особенности российской модернизации: материалы круглого стола. – М.: Экон-Информ, 2009. – 152 с.

Публикация содержит материалы дискуссии, организованной Институтом современного развития и московским офисом Института Кеннана. Предметом обсуждения являлись социокультурные особенности российской модернизации. Эксперты попытались дать в дискуссии ответы на следующие вопросы:

- какими признаками характеризуются устойчивые особенности российской модернизации;
- в какой мере российские особенности обусловлены культурными традициями русского и других народов России;
- могут ли эти «особенности» стать социальным и культурным капиталом модернизации, обеспечивая ей некую особую нишу и конкурентные преимущества в глобальном разделении труда.

ISBN 978-5-9506-0451-5

© Институт современного развития, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие И.Ю. Юргенса.....	5
Список участников круглого стола.....	7
Социокультурные особенности российской модернизации. Сбылись ли прогнозы Дж.Ф. Кеннана? Дискуссия.....	9
Информация об Институте Кеннана.....	117
О Джордже Фросте Кеннане.....	118
Америка и русское будущее. Статья Дж.Ф. Кеннана.....	121

ПРЕДИСЛОВИЕ

Вопрос о модернизации стоял перед Россией очень часто на протяжении ее длинной и бурной истории. Вспомним попытки, например, Бориса Годунова, царя Алексея Михайловича и его сына Петра I, Александра II. Фактически модернизационным проектом была и попытка построить в России и во всем оставшемся мире коммунизм, предпринятая большевиками в начале прошлого века. В этом же ряду – перестройка Михаила Горбачева и демократическая революция Бориса Ельцина.

Но что мы имеем сейчас, в начале XXI века? Глубокую дискредитацию в глазах основной части населения России ценностей демократии, рыночной экономики и гражданского общества. Как тут не вспомнить Реформацию и Контрреформацию, Великую Французскую революцию и последовавшую за ней Реставрацию, романтический порыв и даже наивность большевиков, на смену которым пришел человеконенавистнический прагматизм Сталина.

Так все-таки с чем мы имеем дело? С глубинными архетипами, установками и ценностями российского народа, которые предопределяют тип нашего развития еще на многие годы вперед, или со стечением несчастливых обстоятельств, которые быстро могут поменять динамику российского развития – с «минуса» на «плюс»?

Эта, казалось бы, умозрительная дилемма на самом деле имеет определяющее значение для всех планов не только модернизации, но и просто развития России. Даже ничего не делая, невозможно остаться вне общемирового исторического процесса, в который наша страна оказалась включена благодаря реформам «лихих» 1990-х годов. А это развитие, несмотря на все трудности последнего времени, направлено в сторону гуманизации человеческих отношений, поиска путей достиже-

ния договоренности даже там, где, казалось бы, взаимоприемлемая позиция невозможна. Освобождаясь от финансовых пузырей, наиболее продвинутая часть мирового сообщества делает решительный шаг к повышению роли свободного труда свободных людей. Видимо, начинается очередной этап и в эволюции демократических процедур: от господства коррумпированных профессиональных политиков и политтехнологов мир переходит к открытой политике, в формировании которой активное участие будут принимать не только разнообразные политические партии и НКО, но и – напрямую, через механизмы прямой и обратной связи с властью – основная масса образованного населения. Приходит новое понимание взаимоотношений человека и природы. И все эти сдвиги в той или иной степени определяют облик экономики, социальной политики и общественного устройства XXI века.

Пришла пора понять: а сможем ли мы успешно преодолеть эту историческую развилку, доказав не только всему миру, но прежде всего самим себе, что и в России модернизация может быть успешной. И здесь социокультурные аспекты выходят на первый план.

Представленная в данной публикации дискуссия должна, как нам кажется, инициировать интенсивное общественное обсуждение поставленных – нет, не Институтом современного развития, а самой жизнью – вопросов. Со своей стороны ИНСОП выражает благодарность Институту Кеннана за подготовку публикуемого обмена мнениями и намерен продолжить «разрабатывать» эту тему, привлекая к обсуждению лучших российских и зарубежных экспертов.

Председатель Правления
Института современного развития
Игорь Юргенс

**СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА
«СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ.
СБЫЛИСЬ ЛИ ПРОГНОЗЫ ДЖ.Ф. КЕННАНА?»
26 МАЯ 2009 ГОДА**

Институт современного развития

Алексеева Екатерина Альфредовна	Московский офис Института Кеннана, сотрудник
Асмолов Александр Григорьевич	Федеральный институт развития обра- зования, директор
Аузан Александр Александрович	Институт национального проекта «Об- щественный договор», президент
Блохин Андрей Алексеевич	Институт современного развития, со- ветник
Гагуа Александр Владимирович	Государственная Дума Федерального Собрания РФ, советник председателя
Гонтмахер Евгений Шлемович	Институт современного развития, член правления
Грин Сэм	Московский Центр Карнеги, замести- тель директора
Гудков Лев Дмитриевич	Аналитический центр Юрия Левады, директор
Дробижева Леокадия Михайловна	Институт социологии РАН, Центр ис- следования межнациональных отноше- ний, руководитель
Дубов Юрий Глебович	Психологический институт Российской академии образования, заведующий ла- бораторией
Зоркая Наталья Андреевна	Аналитический центр Юрия Левады, сотрудник

Кукулин Илья Владимирович	Московский гуманитарный педагогический институт, старший научный сотрудник
Левина Галина Владимировна	Московский офис Института Кеннана, сотрудник
Левинсон Алексей Георгиевич	Аналитический центр Юрия Левады, руководитель отдела социокультурных исследований
Майофис Мария Львовна	Журнал «Новое литературное обозрение», редактор
Макаренко Борис Игоревич	Институт современного развития, руководитель дирекции
Межуев Вадим Михайлович	Институт философии РАН, главный научный сотрудник
Оболонский Александр Валентинович	Институт государства и права РАН, главный научный сотрудник
Паин Эмиль Абрамович	Московский офис Института Кеннана, научный руководитель
Пестрякова Светлана Аркадьевна	Российская академия государственной службы, сотрудник
Плаксин Сергей Михайлович	Институт современного развития, эксперт
Рейтблат Абрам Ильич	Журнал «Новое литературное обозрение», редактор
Рогов Кирилл Владимирович	Институт экономики переходного периода, сотрудник
Рубцов Александр Вадимович	Институт философии РАН, Центр исследования идеологических процессов, руководитель
Шаталова Елена Юрьевна	Институт современного развития, консультант
Шахова Елена Алексеевна	Журнал «Новые пенсионеры», редактор
Юргенс Игорь Юрьевич	Институт современного развития, председатель правления

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. СБЫЛИСЬ ЛИ ПРОГНОЗЫ ДЖ.Ф. КЕННАНА?

Дискуссия

Юргенс И.Ю. Уважаемые коллеги, Институт современного развития очень рад тому обстоятельству, что мы можем провести совместное мероприятие с Институтом Кеннана. Я хотел бы на личной ноте начать с того, что глава Института Кеннана Блэр Рубл, когда он еще был выпускником канадского университета, писал свою диссертацию о советских профсоюзах. В этот момент ваш покорный слуга работал в советских профсоюзах, будучи выпускником Московского университета, и водил его в закрытые архивы советских профсоюзов на улице Лобачевского. Я с большой теплотой вспоминаю и те времена, и последующие наши встречи. Это с одной стороны. С другой стороны, наверное, все здесь присутствующие знакомы с «длинной телеграммой» самого Кеннана, когда он был временным поверенным в делах США в Москве. Суть этой телеграммы: первое – нельзя Советский Союз реформировать извне давлением, дайте русским разобраться самим; второе – за этим впечатлением всемогущей силы и цинизмом скрывается очень большой комплекс неполноценности и уязвимости. Эти две мысли были для тех, кто читал телеграмму, довольно интересными с точки зрения понимания структуры советской власти или, вернее, верхушки советской власти. Довольно показательно для анализа и представление о том, что дальше творилось. Поэтому здесь есть некая общность с той темой, которую мы сегодня хотим обсудить: смыслы, ценности, что является идео-

логической основой для формирования каких-то программ, систем управления – умами в первую очередь и непосредственно экономикой. Но от этих систем управления, моральных ценностей или заданных смыслов, конечно, проистекает и то, что мы хотим видеть в экономике, выходе из кризиса и всем остальном. Поэтому такой вот моральный детерминизм, в отличие от экономического, – это сам по себе огромный смысл, в котором мы пытаемся разобраться. Ответа никакого окончательного и даже предварительного в умах ни одного из нас нет, но это нас очень заботит. Мы считаем, что от этого морального детерминизма очень многое в ближайшем – в ближайшем! – будущем будет зависеть в державе, называемой «Российская Федерация». Сказав это, я вас сердечным образом приветствую и передаю слово тому в нашем институте, кто этим (а) занимается, (б) очень посвящен, – Евгению Шлемовичу Гонтмахеру.

Гонтмахер Е.Ш. Спасибо. Я, конечно, не более чем потребитель того, что делаете вы – люди, которые здесь собрались. Занимаясь экономикой, точнее той ее узкой частью, которая связана с людьми, вольно или невольно от цифр всегда переходишь к поведению людей. Потому что все-таки оно определяется мотивами. Это понятно. А потом начинаешь задумываться: а ведь за мотивами и поведением стоят какие-то ценности, архетипы, установки и так далее. Естественно, на эти вопросы я ответить не могу, потому что у меня нет для этого нужного профессионализма, но я всегда с удовольствием обращаюсь к тем людям, которые это знают, и пользуюсь тем, что они говорят. Ведь это, как мне кажется, позволяет очень многое объяснить в поведении людей. То есть я тоже категорический противник экономического детерминизма. Мне представ-

ляется, что тема, которую Эмиль Абрамович предложил обсудить, крайне важна и имеет прикладной характер. Надеюсь, мы обогатимся достаточно сильно для того, чтобы сделать какие-то конкретные выводы и предложения. Предоставляю слово Эмилю Абрамовичу.

Паин Э.А. Позвольте мне тоже начать свое выступление с личных, но не давних, времен вуза, а свежих впечатлений. Я сегодня ехал в метро. Рядом со мной сидел дядечка сугубо советского вида в черном не по погоде брезентовом плаще и читал – что вы думаете? Не «МК», не «Спид-инфо». Он читал брошюру «Культурное многообразие в эпоху глобализации». И этот диссонанс меня так поразил, что я подумал: «Какую же народную тему мы поднимаем, хотя многим она кажется сугубо академической и элитарной».

Функция моя сегодня проста. Я скажу несколько слов о нашем институте, а потом разогрею почтенную публику своим импульс-докладом, для того чтобы затем начать дискуссию.

Импульс-доклад

Я рад вас приветствовать от имени Института Кеннана – одного из инициаторов и организаторов этого семинара. Московский офис Института Кеннана был создан еще в 1993 году, тогда же, когда и Московский Центр Карнеги, но значительно менее известен, чем Карнеги. И это объяснимо. Наш офис долгое время занимался прежде всего обеспечением программ научного обмена и лишь недавно стал больше ориентироваться на исследовательские и просветительские программы в России. С 2005 года главным направлением научных интересов офиса являются осо-

бенности российской модернизации в сравнении с другими странами. Так что тема нынешнего семинара для нас не случайная. Его название имеет и подзаголовок «Сбылись ли прогнозы Джорджа Кеннана?».

Этот известный американский дипломат стоял у истоков создания нашего института. Помимо знаменитой «длинной телеграммы», обосновавшей стратегию сдерживания СССР, он писал также и историко-антропологические эссе о России, одним из первых в США высказывая мысль о том, что *особенности российской истории, отсутствие традиций рыночного хозяйства* еще долго будут препятствовать становлению на территории СССР современного общества, хотя уже тогда Кеннан верил в возможность демократизации нашей страны. Он исходил из постулатов теории path dependency задолго до того, как она была сформулирована в институциональной экономике.

Для американского дипломата вопрос о *зависимости современного развития от пройденного пути, от существующих или отсутствующих культурных традиций* имел не только глубоко академический интерес, а уж для нас с вами тем более. От решения этого вопроса во многом зависит выбор стратегии развития страны.

Если говорить о той трактовке этой стратегии, которая бытует в российской политической практике, то она сводится к представлению о модернизации как о проекте преобразования общества в сторону повышения его конкурентоспособности в мировом хозяйстве за счет новых источников развития, связанных с инновационной экономикой высоких технологий. Это необычайно узкое технократическое толкование модернизации. Оно само по себе содержит преграды для нее, поскольку выхолащивает социально-культурный смысл модернизационных

процессов. В то же время у узкого и прагматического представления о модернизации есть и свои преимущества – оно всем понятно и приемлемо для большинства политических сил. При всех идеологических различиях внутри российского истеблишмента цель повышения конкурентоспособности страны в мировом хозяйстве за счет новых источников развития, на мой взгляд, мало кем оспаривается. Дискуссии ведутся лишь о выборе пути движения в этом направлении.

Наиболее влиятельная и массовая ныне сторона этой дискуссии настаивает на продолжении традиционного для России пути модернизации «сверху» с основной ставкой на командно-административное регулирование, на «вертикаль власти».

Другая, более малочисленная и политически более слабая группа (и в этом смысле можно их назвать «меньшевиками») настаивает на ином пути модернизации – за счет либерализации политической системы, развития свободы политической конкуренции и поощрения ценностей индивидуальной самореализации, конструктивной инициативы «снизу». В этой дискуссии едва ли не решающим аргументом защитников авторитарной модернизации является фактор культурной традиции, якобы присущей особой российской цивилизации. Как сказал Владислав Сурков в своей установочной речи в Президиуме РАН в июне 2006 года, «культура – это судьба», она и определяет вечные особенности политического строя. В российском случае это централизованная, персоналистская власть, где персоны важнее институтов, неформальные нормы важнее правовых.

А какова позиция противоположной, либеральной стороны? У нее нет единой позиции, напротив, она расколота на два лагеря. Один из них фактически поддерживает фаталистический взгляд на зависимость России от своей истории и культу-

ры: «Да, мы хотим либерализации, но в этой стране, с таким народом либеральная миссия невыполнима. Что поделаешь, страна рабов!» Самым ярким примером такой позиции была декабрьская статья Ю. Афанасьева в «Новой газете» с названием в форме риторического вопроса: «Мы не рабы?»

Другая группа либералов полностью отрицает влияние культурной специфики, считая ее вымыслом, всего лишь пропагандистским клише. Даже признавая, что современное российское общество не склонно добиваться либерализации, они полагают, что откуда-то появится каста либеральной элиты, почему-то она прорвется к власти и тогда возьмет общество за шиворот и приведет его в светлое либеральное будущее по принципу «Стерпится – слюбится».

Я считаю такого рода допущения сомнительными. Как российский, так и мировой исторический опыт показывает, что модернизации, *не подхваченные обществом, не защищаемые обществом, не ставшие ценностью для него*, быстро обрываются, сменяются авторитарными контрреформами, а в ряде стран, например в Иране в эпоху «Белой революции», верхушечные и навязанные модернизации приводили к взрыву фундаментализма и радикализма, чего нельзя исключить, возможно в меньших масштабах, и по отношению к России.

Моя позиция человека, заинтересованного в либеральных переменах, состоит в том, что:

- социально-культурная специфика – не выдумка, и возможность успешной модернизации связана не просто с учетом этого обстоятельства, но и с выдвижением социально-культурных задач в качестве центральных и первоочередных. Прежде все речь идет о задаче *выращивания общества, его подготовки к экономической модернизации*. Кстати, исходное

значение культуры как раз и сводится к возделыванию, выращиванию. Пока такой цели российские модернизации, включая и проект 1990-х годов, не выдвигали. Между тем примеры сравнительно успешных модернизаций в ряде стран, будь то Турция времен Ататюрка или Испания после Франко, показывают, что их успех был связан с накоплением социально-культурного капитала, используемого в модернизации; в таком временном эшелонировании модернизации, при котором радикальные изменения экономической сферы опирались на предшествующий этап «выращивания общества» и его национальной консолидации вокруг неких общих целей модернизации;

- социально-культурные традиции – не фатум, не рок, они всегда конструировались, однако такое конструирование требует понимания специфических условий социальной среды.

В приглашении были сформулированы вопросы для обсуждения, и я позволю себе дать свой по необходимости короткий ответ на них.

О специфике модернизации. Я согласен с экспертами, признающими в качестве устойчивого ПОКА стержня всей жизни России:

- воспроизводство тоталитарных или авторитарных черт российского государства;
- подмену общих правил игры личными взаимоотношениями;
- массовое неисполнение законов как подданными, так и властями;
- недоверие к любой власти, кроме самой высшей.

В таких условиях модернизация осуществлялась исключительно сверху.

В какой мере эти российские особенности обусловлены культурными традициями народов России? Напомню, что Дж. Кеннан выводил слабую готовность СССР к современной модернизации не из давления накопленных традиций, а как раз из отсутствия таковых. Отсутствия реального опыта парламентаризма, полноценных рыночных отношений и др. И вот с этим я совершенно согласен. Я бы лишь добавил, что за годы советской власти произошло гигантское, беспрецедентное в мировой истории разрушение традиций и каналов их трансляции.

Сельская община была разрушена уже в начале прошлого века. Религиозные общины, православные церковные приходы были разрушены в советское время, и их роль, скорее всего, не восстановится ныне, учитывая, что свыше 90% православных верующих не считают себя частью какого-либо одного прихода и посещают церковь эпизодически, по случаю и какую придется. Еще недавно были дворы, которые хоть как-то восполняли отсутствие полноценного механизма социального контроля, действующего по принципу: «Что люди скажут?» Сегодня и этого нет. Родственные отношения? Их разрушение в российской, и прежде всего русской, среде, доведение некогда плотных родственных контактов до уровня эпизодического общения – общепризнанный факт. На Западе произошла замена принудительной коллективности новым избирательным коллективизмом «солидарного индивидуализма». В России этого пока не произошло. Международные кросскультурные исследования указывают на чрезвычайно низкий уровень горизонтального доверия и на чрезвычайно слабую готовность населения к любым формам ассоциативности на более или менее постоянной основе. В таких условиях не вызывает сомнений тот факт, что представление о российском обществе как кол-

лективистском, соборном и общинном – это миф. Напротив, сегодня это общество – одно из наиболее атомизированных в мире, что одновременно означает и дальнейшее ослабление каналов трансляции национальных культурных традиций.

Но если трансляция традиций нарушена, то чем же объяснить воспроизводство тех самых признаков «русской системы», о которых я уж говорил? На мой взгляд, это связано не с традициями, а с социальными рефлексами, адаптацией к сохраняющимся условиям социально-экономической среды.

Несущим каркасом «русской системы» является господство сырьевой экономики. Сырьевые товары составляют 85% российского экспорта и охватывают более 50% российского ВВП. Проблема «ресурсного проклятия» известна давно, так же как ее следствия:

- преобладание сырьевой экономики уменьшает стимулы к модернизации;
- существует прямая связь между экономикой, основанной на эксплуатации природных ресурсов, и структурой элит. Такая элита в наибольшей мере зависит от государства, поэтому она наиболее сервильна по отношению к власти и в наименьшей мере склонна к опоре на гражданское общество;
- засилье ресурсной экономики обусловило избыточную роль государственной власти в жизни России. С. Кардонский назвал такое государство «ресурсным». Оно стремится к монополии на распределение ресурсов всех видов;
- главным ресурсом всегда была территория с ее землями и недрами, поэтому ресурсное государство в качестве высшей цели выдвигает имперские цели – удержания, а по возможности и расширения территории;

- высокое значение территориального ресурса включает и целый комплекс психологических механизмов, связанных с имперскими комплексами. Имперский тип государственности оказывается естественным оформлением режима, построенного на экспорте сырьевых ресурсов, поэтому частные изменения политической системы не приживаются (как говорил В. Черномырдин, «какую партию ни делай, все равно получится КПСС»).

На мой взгляд, воспроизводство особенностей российской системы может быть охарактеризовано как ИНЕРЦИЯ БЕЗ ТРАДИЦИЙ. Но само понятие инерции предполагает сохранение состояния покоя или прямолинейного движения лишь до того, как тело не сталкивается с новыми импульсами. Так вот я полагаю, что представление о том, что в сохранении инерции первичную и основную роль играет особая национальная ментальность русских, особые культурные традиции, неверно. Здесь ведущая роль за той самой социально-экономической почвой, *однако в другой части формулы, в которой речь идет об импульсах к переменам и адаптации перемен, роль социокультурных факторов определяющая.*

Большинство посткоммунистических стран, судя по материалам сравнительных исследований, остались такими же «совками», как и мы, но их движение к модернизации, их готовность перетерпеть неизбежные трудности, с этим связанные, было подкреплено их стремлением вырваться из империи. У большинства населения России такого импульса нет.

Какую же альтернативную цель можно предложить россиянам? Какое-то время я предполагал, что это может быть традиционная идея «великой державы», приспособленная под задачи современной модернизации. Сейчас я такую возможность считаю маловероятной, хотя бы потому, что перелицованная

идея великодержавия вряд ли выдержит конкуренцию с подлинной, имперской и антимодернистской, особенно в условиях, когда ее навязывают наиболее массовые средства информации.

Думаю, что прав А. Аузан, по крайней мере применительно к России, когда говорит о том, что в качестве объединяющей национальной идеи могут выступать не столько привычные, сколько наиболее дефицитные ценности. К ним, безусловно, относится и ценность правовой защищенности личности. Спрос уже сейчас высок и будет расти. Во многих странах, выбравшихся из тисков авторитаризма, именно идея защиты от произвола властей, чиновников-коррупционеров, преступников как раз и выступала стартовой основой национальной консолидации. Возможно, так будет и в России.

И наконец, последнее. Абсолютно негативных ситуаций не бывает, у каждой медали две стороны. Вот и слабая традиционность нашего общества, порождающая множество проблем (с системами доверия, формированием ассоциаций, национальной консолидацией и т.п.), имеет и свою позитивную сторону – высокую готовность к восприятию инноваций. Россия восприняла французский материализм, затем немецкий романтизм, марксизм, синтоизм, кришнаизм, да мало ли еще что. У нас принимается все. Может, эта восприимчивость и станет социальным и культурным капиталом модернизации, обеспечивая России конкурентные преимущества в глобальном разделении труда?

Мне кажется, я выполнил свою функцию: как коверный клоун, разогрел аудиторию; теперь мастера искусств могут приступить к плодотворной дискуссии.

Я хотел бы предложить Льву Гудкову сказать несколько слов об опросах, которые показывают, каково отношение к идее особого пути в российском обществе.

Гудков Л.Д. Вначале я отвечу на вопрос Э.А. Паина, а затем попробую очень кратко изложить свои представления о возможностях модернизации в России и обусловленности ее пути «культурными архетипами», «культурной генетикой», как сейчас любят выражаться. Действительно, за двадцать лет наших исследований произошли некоторые изменения в массовом понимании того, какая модель развития была бы более предпочтительной для России. Эти изменения, или правильнее было бы их называть – «колебания», не очень существенные, они захватывают примерно 20–30% населения, относящихся главным образом к более образованным группам, городским, более продвинутым, обеспеченным и информированным слоям.

В конце 1980-х годов, когда перестройка уже начала заканчиваться, модель западной демократии как вариант развития советского общества казалась привлекательной для всего 12–16%, не более того. Процентом 6–8 выбирали «реформированный социализм» или модель «шведского социализма», еще меньше – китайский вариант. Возвращения к советской системе, пусть даже обновленной и подчищенной, освобожденной от родимых пятен социализма – бедности, дефицита, репрессий, – хотели бы примерно 40%. В дальнейшем удельный вес сторонников того или иного пути развития менялся в зависимости от экономической ситуации в стране и глубины кризиса. К середине 90-х годов привлекательность западной модели начала расти, и этот рост продолжался вплоть до 1998 года (с 25 до 32%), но затем под влиянием антизападной риторики властей

она постепенно снизилась до 15–16% и держится примерно на этом уровне. Советская система пика своей ностальгической привлекательности достигла вскоре после кризиса 1998 года (45–48%), а затем, с улучшением ситуации в стране, стала быстро блекнуть и терять свое значение. В прошлом году ее выбирали всего 24%. Действующий порядок как образец для государственного и общественного строительства в последние годы (путинской политики стабилизации) становился все более значимым, шла легитимация нынешней системы власти, а значит, ширилась массовая ее поддержка: если в 1998–2000 годах устанавливавшаяся система общественно-политической организации России расценивалась как оптимальная модель для России всего 5–13% населения, то в 2008 году она казалась таковой уже для 36% россиян.

С середины 90-х годов по мере разочарования ходом реформ, снижения уровня жизни населения, усиления массового раздражения политикой властей, дискредитации самой идеи реформ и выхода на сцену новых игроков – идеологов спецслужб и самих спецслужб, «силовиков», с началом конфронтационной политики с Западом довольно заметно начала развиваться компенсаторная идея «особого пути». На протяжении 2000-х годов она казалась убедительной для 60% россиян. Эта идея абсолютно пустая: в ней нет ничего, никаких содержательных представлений, это чисто изоляционистское и защитное представление, выстроенное от противного: ни советское прошлое, ни западная демократия, ни китайский или югоазиатские варианты модернизации. Она в этом смысле выступает как модернизационный барьер, как условие дискредитации Запада, защита от «навязывания» западных ценностей, ну и, соответственно, блокировка возможностей интеграции с ев-

ропейскими странами, закрытие пути в Европу, вступления в мировые институты и торговые системы. Попытки конкретизировать и уточнить, что скрывается за этим клише – «особый путь России», – ничего не дают. Чаще всего опрошенные либо приводят какой-то вариант тавтологических утверждений (различие ценностей Запада и России, промежуточное положение России между Европой и Азией, исторический путь трагических испытаний, страданий русского народа, породивший особый тип человека и культуры и т.п.), либо указывают на особую роль государства, которая раскрывается как то, что государство должно было бы делать, но не делает, то есть люди предъявляют в качестве черт «особости» свои иллюзии и нереализованные патерналистские ожидания. Те, кто говорил: «Россия отстала от большинства передовых стран» (а таких в 1990-е было от 45 до 55%; но в 2008 году – лишь 35%), в последние годы все чаще стали заявлять: «Россия развивается по особому пути, и ее нельзя сравнивать с другими странами» (доля таких людей увеличилась с 30–34% в 90-е годы до 41% в 2008 году). По мере осознания своей модернизационной неудачи у страны развивается компенсаторно-охранительное, утешительное сознание: «Нечего на нас пальцем показывать, у нас своя великая история, мы особые, мы не похожи на других», «нас аршином общим не измеришь», «у нас духовность, у нас соборность», «русские никогда не ценили материальные блага» (что полная чушь) и т.п. «Да, нам нужна демократия, но особая», и так далее.

Я бы хотел привести еще один пример, связанный с динамикой фрустрированности массовой психологии, а именно: чрезвычайно быстрого развития «черного» сознания, как я его называю. В 1989 году на вопрос: «Есть ли враги у нашей стра-

ны?» всего 13% отвечали положительно, а 52% говорили: «Зачем искать врагов, когда вся проблема в нас самих» – в нашем прошлом, неумении организовываться, действовать и т.д. На тот момент в обществе отсутствовали сколько-нибудь определенные представления о направлениях возможного развития и, соответственно, о стратегиях модернизации. Основная часть населения хотела жить немножко лучше. Выбирался какой-то ослабленный, очень разбавленный вариант «социализма с человеческим лицом»: убрать привилегии у номенклатуры, немножко подкормить население – примерно этот комплекс проблем. Ни у элиты, ни у политического класса, старой номенклатуры, никаких особых идей, что делать, не было. На этом фоне общей возбужденности и неопределенности с 1989 по 1993 год чрезвычайно быстро развивалось «черное» сознание: «мы хуже всех», «мы нация рабов», «мы Верхняя Вольта с ракетами», «мы пример всем странам, как не надо жить». Это был кризис в точном смысле слова. Удельный вес таких ответов увеличился за это время с 3–6% до 57%, то есть эти настроения были массовыми. Но уже к середине 90-х годов они сошли на нет, сменившись совершенно другими чувствами: «Нам нечего стыдиться, мы великая страна» (или «мы были великой страной»). Одновременно начало расти представление, что вокруг нас одни враги, что нам никто не желает добра, что Запад покушается на наши богатства, что он хочет унижить Россию, поставить ее на колени. С 1993–1994 года ощущение, что враги нас окружают, что они повсюду, стало быстро усиливаться и достигло максимума с укреплением Путина у власти. В 2003 году 78% говорили, что «есть враги», и называли их – понятно кого.

Подобное возвращение к оборонному сознанию, характерному для советских времен, к изоляционизму, распространению идеи «особого пути» стало следствием массовой дезориентированности, слабости элит, способных предложить обществу проработанные стратегии будущего, национального развития. Суть этих стратегий должна была бы заключаться в формировании системы новых институтов, способных реализовывать эти программы. Этого не произошло – по разным причинам, я сейчас не касаюсь их. Реакцией на это, ответом на зигзагообразный ход реформ, на нереализованные, неосуществленные надежды населения стала дискредитация реформаторов. Не обошлось, конечно, и без мощного влияния консервативных сил, антизападной пропаганды. Именно как ответ на эту неудачу подымалось сознание: «А чего нам Европа? Запад нам не указ, мы сами с усами, у нас особый путь», «мы русские – какой восторг» и т.д. Рост изоляционистских настроений свидетельствовал о недееспособности более образованной части проработать цели национального развития, как-то их представить, сделать их более привлекательными для населения. Ситуация этого времени была очень тяжелой, проблемы, стоявшие перед реформаторами, были колоссальными. Масштабы падения жизненного уровня населения, вы сами знаете, какие были. Но главное – не было соответствующей работы демократов по выдвиганию сколько-нибудь убедительных и привлекательных для массы вариантов политического развития. А дальше пошла волна русского национализма, антизападничества, дискредитация либерализма, демократии, даже самой возможности изменения страны. Русский национализм явился в качестве компенсаторной идеологии, идеологии «особости» России, став реакцией на неудачу модернизационной импровизации, неподготовленность элиты и тех

сил, на которые элиты могли бы опираться в проведении политики трансформации. Авторитаризм, возникший 2000 году, получил поддержку благодаря тому, что он питался этими настроениями, опирался на потребность в утешении, психологической защите от глубокой фрустрации.

Идею «особого пути» сегодня разделяет половина или даже две трети населения. Она очень важный момент легитимации режима, одна из опорных конструкций дезориентированного и становящегося все более консервативным массового сознания.

Теперь два слова я бы хотел сказать о русской модернизации. Модернизация – это не обновление технологии, промышленности, вооруженных сил, систем коммуникаций и т.п. или, по крайней мере, не только это. Можно иметь относительно развитый военно-промышленный комплекс и крайне архаическую систему идеологии и управления, как это мы видим в Иране. Главная черта модернизационных процессов заключается в изменении системы институтов, их специализации, возникновении саморегулирующихся систем – представительной демократии, свободной рыночной экономики, независимой судебной системы, автономной науки, независимой от власти культуры, отсутствии цензуры и других институтов, обеспечивающих обмен идеями, механизмы проведения ответственной политики, права и свободы человека. Импульсы к модернизации идут постоянно на протяжении последних 150 лет. Однако, на мой взгляд, усиливающаяся сложность общественного устройства (рост автономности взаимосвязанных институтов) периодически блокируется, возникает эффект абортивной модернизации, когда накопление довольно значительной массы изменений упирается в базовые структуры – в политическую

систему прежде всего. Политическая система у нас в России – самая косная, самая архаическая структура, если не считать РПЦ. Она держится только на том, что символически представляет коллективные ценности, интегрирует вокруг себя общество, но объединяет не тем, что создает возможности для регулярного переопределения целей национального развития, а тем, что пытается контролировать другие институты, процессы в ключевых сферах социальной и экономической жизни, подавляя любые возможности независимого от нее развития. То есть блокирует возможности социальной структурно-функциональной дифференциации. Именно в этом и заключается парадокс российской модернизации. Структуру общественного целого задает самый архаический его институт. Если говорить о традиции, о ее воспроизводстве, то вот она. Никакой фатальной предопределенности, «культургенетической» детерминированности русского крепостничества нет. Модернизация в России резко ускоряется в моменты ослабления властных институтов. Свидетельств тому необыкновенно много: достаточно обратить внимание на то, как быстро формировались рыночные отношения в среде, обреченной, согласно взглядам сторонников традиционного пути России, оставаться навсегда с планово-государственной, распределительной и централизованной экономикой (и таким же государственно-зависимым человеком).

Что значит для меня как социолога модернизация? Конечно, в идеологическом и культурном смысле – это усвоение западных образцов, западных ценностей: индивидуализма, правовой защиты, но главное – это дифференциация институтов, которые базируются на самостоятельных ценностях, на автономности и прочее, и прочее. Вот именно проблема автономизации институтов, выхода отдельных институциональных сис-

тем из контроля самодержавной до сих пор, авторитарной, какой хотите, власти. Прежде всего этого касается независимости правой, судебной системы. Без формирования этих институтов никакая модернизация в России невозможна.

Все попытки модернизации России сверху заканчивались плачевно, не обязательно в силу какого-то внешнего подавления, а скорее из-за внутреннего сбоя. Потому что до какого-то момента модернизационные элиты внедряли те или иные идеи разделения власти, а потом вынуждены были адаптироваться к существующему порядку, отказываясь от собственных представлений, идей, идеалов в пользу прагматического приспособления к системе. М. Вебер в работе о русской революции описывал этот процесс: как наиболее модернизированная часть русского общества – крупный капитализм – постоянно приспосабливается к архаической и неизменной системе самодержавной власти, отказывается от собственных интересов, поскольку, как он говорил, у русского капитализма нет политических инстинктов.

Хуже всего – и это наиболее тяжелые последствия, – что мы имеем дело с устойчиво воспроизводящимся типом человека, приспособленного к этой системе, который умеет уживаться – привык, научился адаптироваться – с репрессивным режимом: обманывать его, торговаться, вступать с ним в коррупционные сделки, – но не верит в возможность изменения системы. Результатом этих повторяющихся неудач оказывается мощнейший импульс разъедающего цинизма, в котором гаснут всякие модернизационные импульсы, ценностные начала, импульсы необходимого политического идеализма. А они возникают все время. Мы по нашим опросам видим, кто, собственно, мог бы быть агентом модернизации, у кого есть интересы модерниза-

ции. Это вполне очевидные и понятные группы: прежде всего, бизнес, который заинтересован в дифференциации институтов, являющейся гарантией его существования; более образованные слои элиты; ну и отчасти то население, которое заинтересовано в безопасности, правопорядке, ограничении административного произвола и т.д. Но ни одна элита не довела это дело до конца. Цинизм – это точно такой же феномен массового приспособления, как и приспособление ценой снижения материальных запросов, как русское «терпение».

Эти вещи чрезвычайно сложные, и одной пропагандой и насаждением либеральных ценностей здесь ничего не добьешься. В отдаленной перспективе можно видеть два варианта эволюции. Либо Россия действительно (и это наиболее вероятный сценарий) будет медленно, в течение десятилетий, деградировать и сойдет с мировой арены как великая страна, либо ценой политики более открытого общества, вестернизации, сознательного выращивания элит, то есть создания инновационных образовательных структур, новых элитных университетов, и расширения сферы правой регуляции, ограничения произвола власти и т.п. добьется некоторых изменений. Скорого успеха здесь ждать не стоит. Но такой вариант не исключается, напротив, он более реалистичен, если посмотреть: или проблематичное будущее, или национальная деградация и нисхождение вниз. Пока же мы имеем дело с настолько медленным процессом адаптации западных достижений, что они не меняют общей структуры власти, институциональной композиции.

Аузан А.А. Уважаемые коллеги, так получилось, что в двухтомнике ИНСОРа, который вышел в марте и посвящен коррекции взглядов на стратегии развития России в связи с кризисом,

я делал ту главу, которая посвящена ценностям и модернизации. Поэтому я бы хотел, естественно, не излагая содержание главы, продвинуться немножко дальше и начать за упокой, а кончить все-таки за здравие. Я во многом согласен со Львом Гудковым, что на сегодняшний день наиболее вероятно сползание на мель: что Россия из каждого нового цикла, например после повышения нефтяных цен, будет выходить с немодернизированными институтами и ее будет относить, относить... Это процесс не катастрофический, но очень неприятный по долгосрочным своим последствиям. И об этом, мне кажется, надо говорить вслух, потому что это один из вопросов мотивации к модернизации.

Теперь к вопросу о способах модернизации. Рассматривая ее в экономико-техническом смысле, я как раз и старался проанализировать, почему авторитарные модернизации в России всегда имели примерно одинаковый результат. Некоторый скачок в развитии страны, подрыв (то, что Лев Гудков назвал abortивной модернизацией), демобилизация и сползание. Логично я могу очень быстро изложить. Поскольку в авторитарной модернизации реальным субъектом становится государство как организация с конкурентным преимуществом применения насилия, естественно, оно его и начинает применять для собирания ресурса. В итоге получается, что, во-первых, эффективность не обеспечивается, потому что бюджетные ограничения, считайте, отсутствуют (об эффективности ни петровской, ни сталинской модернизации мы говорить не можем); а во-вторых, подрываются наиболее эластичные ресурсы, те, которые можно растянуть больше всего в модернизации, – это труд и земля. В итоге человеческий потенциал подрывается каждый раз на этом самом скачке. После этого по внутренним причинам начинается демобилизация. Заметьте, она всякий раз инициируется теми кру-

гами в государстве, которые и были двигателями прорыва. А дальше начинается очень странная история, потому что не срабатывает несколько триггеров. Мне кажется, про эти триггеры и надо говорить, потому что в этом проблема. Потому что мы снова возвращаемся в колею, хотя я абсолютно согласен с Эмилом Абрамовичем, что вопрос траектории движения – это вопрос издержек переключения: возможно совершить инвестиции в это переключение или нет, и куда они должны быть направлены.

На мой взгляд, сама блокировка основана на трех обстоятельствах. Первое – уровень коллективного действия, или уровень ассоциированности. В какие-то моменты он становится очень высоким, а потом очень быстро падает. Он не поддерживается. Второе – спрос на демократию, который оказывается, мягко говоря, нестабильным, необеспеченным. И третье – вопрос о ценностях, то есть о горизонтах, о том, преодолевать ли адаптированность к архаичному государству, и т.д.

На мой взгляд, воздействие на эти триггеры возможно. На динамику и пути накопления социального капитала можно влиять. Например, известно, что гармонизация формальных и неформальных норм способствует распространению доверия и накоплению социального капитала. Создание многочисленных законодательных механизмов доступа к ресурсу для разного рода некоммерческих ассоциаций, решение free rider problem – это, безусловно, фактор того, что мы будем иметь не только неформальные сети, которые протестуют против чего-то в Интернете, но и достаточно сложные, развитые организации. Здесь нет технической предопределенности. Но то, что есть факторы воздействия, с которыми можно работать, – это факт.

Если говорить о спросе на демократию, то это дискуссия давняя, начиная с гипотезы Липсета. Там аргументы были за и против, были новейшие эконометрические исследования, но вообще-то то, что постановка вопроса другая возникла, это уже важно. Мы понимаем, что демократия – довольно дорогой политический режим, он требует достаточно серьезных издержек от населения. В авторитаризм-то легче входить. Выходить тяжело из него. Издержки входа в авторитаризм маленькие, а в демократию – большие. И демократия, вообще говоря, предполагает определенные инвестиции от населения, отсюда все эти идеи налогового ценза, демократий налогоплательщиков и прочее. Мы не можем применить эти методы старых демократий. Но мы понимаем, что динамика человеческого капитала, динамика среднего класса и равномерность распределения будут влиять на спрос на демократию.

Мне кажется, что надо сказать еще одно: при налоговой системе, когда налоги не ощутимы для населения, не будет спроса с государства. Человек не ощущает, что платит налоги на содержание государства – это делает за него налоговый агент, работодатель, – и потому даже не спрашивает: «На что деньги пошли? Что вы делаете, а что не делаете?» Поэтому я считаю, что есть факторы, о которых надо по крайней мере поговорить и посмотреть, как их учитывать.

Теперь к вопросу о ценностях. Как показали те же кросс-культурные исследования и исследования по методикам Шварца, Инглхарта и других социологов, в России ценности довольно пестрые, довольно сложные: обнаружилась одновременно и высокая ценность безопасности и выживания, свойственная раннеиндустриальной фазе, и высокая ценность самореализации, свойственная переходу к постиндустриальной фазе. По-

этому, во-первых, есть вопрос, какие из этих ценностей мы окучиваем, удобряем, форсируем – это ведь возможная вещь. Во-вторых, я не отказываюсь от идеи, которую тем более теперь поддержал Эмиль Паин, по поводу того, что ценности – это редкость. Модернизирующаяся нация свои ценности, существующие, я бы сказал, инерционно, уравнивает новыми ценностями. Скажем, нетехнологичность, традиционная для нашего населения, может быть очень успешно скомпенсирована через образование. В этом смысле высокая ценность образования – одна из мощнейших модернизационных ценностей, уравнивающих некоторые традиционные факторы.

Последнее, что хотел бы сказать, – про спрос на модернизацию. Я согласен с тем, что если нет спроса снизу, то и не будет модернизации. Я согласен с тем, что спрос на современное государство связан со спросом на правопорядок, то есть правосудие плюс безопасность. Путинский договор 1999–2000 годов, вообще говоря, на этом и строился. Только он не был реализован, и в 2003–2004 годах был заменен совершенно другим: стабильность в обмен на лояльность. Политическим способом в 1999–2000 годах был заключен модернизационный по сути договор. А с 2004-го реализовывался консервативный, который вообще исключал какие-либо подвижки в стране, и мы профукали годы подъема, что, по-моему, теперь признается уже всеми сторонами процесса. Поэтому я полагаю, что можно говорить о спросе не только на ценности, но и на определенные услуги и функции государства, которые создают входы в модернизационную проблематику.

Асмолов А.Г. У меня создается ощущение, что когда мы обсуждаем модернизацию, возникает образ маятника, который

все время качается между стремлением к росту разнообразия и стремлением к его уменьшению. Можно сказать, что появляются профессиональные модернизаторы в стиле героя «Обитаемого острова» Стругацких, которые пытаются изменить ситуацию и способствовать возвращению разнообразия, и традиционалисты, которые ведут к уменьшению разнообразия. Эти две тенденции проявляются сегодня в самых разных вещах.

Дорогие коллеги, я хочу обратить внимание на любопытнейшие игры в массовом сознании, которые иногда в обыденной жизни мы не замечаем.

Маленький пример. Недавно, когда я ехал по Московской области и попал в деревню Кузнецы, я увидел трактор, на котором было написано «Форт Нокс». Не выдержав, я зашел туда и спросил у официантки: «А что такое Форт Нокс?» Она поглядела на меня с презрением и сказала: «Вы что, не видите?! Это трактор!»

Это один зигзаг.

Второй зигзаг. Работая в комиссии по отбору инновационных вузов (был такой проект несколько лет назад), я видел, как вузы – здесь уже говорилось о готовности к инновациям – работали на насос инноваций. И когда мне из Новосибирского государственного университета пришли программы развития этого учебного заведения, они были столь инновационными, что у меня зашаталось сознание. Я увидел программу, которая была направлена на то, чтобы все поразились. Она называлась «Зоопсихология бизнеса». Когда я ректору объяснил, что это немножко странно, он сказал: «Но мы же идем в ногу со временем!» То есть по сути дела мы сталкиваемся с совершенно разными вещами в феноменологии нашего сознания.

Весь анализ советской (а не русской) души убеждает в наличии мощного сопромата по отношению к любым модернизациям. Подобный анализ показывает, что любые социальные изменения наталкиваются на тот же сопромат массового сознания, в котором в явном или неявном виде бытуют на уровне архетипов следующие установки.

Первая из этих установок заключается в том, что в российском менталитете доминирует монополия идеологии конфликта как движущей силы развития биологических, социальных и ментальных систем, что привело к тому, что конфликт и логики оппозиций превратились в социальную норму российского образа жизни и мышления.

Мы общество перманентного кризиса, и это записано в нашей ментальности. По сути дела мы не только идеологически это обосновываем, будь то перманентная революция или нарастание классовой борьбы, но и создаем уникальную технологию, поддерживающую конфликтогенность как черту сознания. Это социальная технология конструирования врага. Почему мы это делаем? Да потому, что эта технология оправдывает ситуацию централизованного управления обществом как тоталитарной системой. Только когда мы постоянно конструируем кризис, тогда нужен Центр, который придет и все решит.

Вторая особенность российского менталитета заключается в неадекватной оценке социально-исторического развития российского государства в результате смысловых перевертышей и подмен идеологических конструктов в политической жизни. Мы «подменяем» империю деспотией; народ – демо-сом; охлократию – демократией.

Мы до сих пор до конца не понимаем масштаба и социальных последствий исторической и психологической травмы

для массового сознания, нанесенной депортацией этнических групп и уничтожением успешных представителей социально-экономических слоев общества, таких как зажиточные крестьяне, называемые кулаками. А именно эти травмы все еще являются источником как неугасающих социальных и этнических конфликтов, так и негативного отношения к предпринимательству и инновационной деятельности.

Идеологический шок начала 90-х годов, следствием которого стало разрушение советской идентичности многих представителей старших поколений и утрата смысла прожитой ими жизни, привел к социальной, этнической и психологической дискриминации носителей советской ментальности на всем постсоветском пространстве. Это также приводит к росту социальной напряженности и нестабильности как в России, так и в других странах СНГ. Об этом ярко свидетельствуют факты фальсификации образовательных программ социально-исторических дисциплин, прежде всего истории, как культурного инструмента изменения исторической памяти – оправдание национал-социалистических и националистских политических движений; демонизация политики СССР в отношении Украины, вплоть до обвинений в геноциде украинского народа.

Отсутствие комплекса социальных, гуманитарных и поведенческих наук, направленных на изучение развития человека и человечества, среди приоритетных научных направлений государственной политики России – лишь один из грустных примеров засилья экономического детерминизма при проектировании государственной образовательной политики. Экономический детерминизм в сфере политики приводит к тому, что образование сводится к сфере услуг, работники образования – к работникам непроеизводительной сферы, цели программ разви-

тия образования подчиняются краткосрочным задачам рынка. Печальными следствиями влияния жесткого экономического детерминизма на разработку различных прогнозов и сценариев развития России, в том числе сценариев развития образования, являются недооценка образования как ведущей социальной деятельности общества и института социализации подрастающих поколений, а также игнорирование принципа избыточности образования по отношению к сиюминутным запросам рынка.

Если мы хотим понять причины, препятствующие социокультурной модернизации российского общества, необходимо обратить внимание на эти установки, присутствующие в российской ментальности и оказывающие влияние на современную государственную политику.

Что такое идеология? Идеология – это фабрика мотивации больших и малых социальных групп. И если мы понимаем идеологию как фабрику конструирования мотивации больших и малых социальных групп, уместно поработать на уровне некоторых утопий. Я к слову «утопия» отношусь с беспредельной теплотой. У нас сегодня утопии становятся реальностью.

Что может подтолкнуть модернизацию? Надеюсь, утопия, содержащаяся в статье «Стратегия социокультурной модернизации образования». Я остаюсь утопистом и верю, что если мы от организационно-экономических моделей образования, которые столь любимы моим другом Славой Кузьминовым, продвинемся к социокультурным моделям модернизации образования и будем рассматривать образование, используя термин Льва Семеновича Выготского, как ведущую социальную деятельность, порождающую нормы, традиции, мотивы и идентичности, тогда, используя выражение Михаила Горбачева, «процесс пойдет». Любые попытки, которые были бы сделаны в логике

социокультурной модернизации образования, сейчас необходимы как воздух. Мы пытаемся так или иначе изменить федеральные программы образования и каждый день настойчиво говорим, что только социокультурная модернизация образования может породить культуру, растящую личность, культуру разнообразия и гражданского общества. Только тогда возникнет исторический шанс возникновения установок массового сознания, за которыми выступает ценностно-моральный детерминизм.

За моим пониманием социальной ситуации страны – философия эволюционного оптимизма. По большому счету мы каждый раз и собираемся вместе, как бы нас ни упрекали, что мы страшно далеки от народа, потому что надеемся, что матрицу, наложенную на наше сознание, можно не только раскатать, но и изменить.

Рубцов А.В. Для начала несколько слов о том особом контексте, в котором сейчас формулируется задача модернизации вообще и для России в частности.

Модернизация – это всегда ответ на исторический вызов. И здесь надо бы начать с уточнения, каков этот вызов в нашем случае. Похоже, ситуация не так тривиальна, как кажется, и во многом резко отличается от того, что было в нашей истории до сих пор в плане исторических вызовов и порывов к модернизации.

Вот мы только что нарисовали сценарий такого плавного сползания страны в сравнительно тихую деградацию. Что произойдет в конце концов, в итоге этого сползания, мы даже не обсуждаем. Хотя можно предположить, что на нашем историческом рельефе такое опускание ведет не просто на более низкий горизонт, а к обрыву. Мирно и без катаклизмов серьезный

дауншифтинг с такими странами, как Россия, не проходит. Здесь можно прогнозировать все что угодно: от острейших внутренних конфликтов и неэволюционных политических трансформаций до дезинтеграции и внешних столкновений за «российское наследство».

В то же время уже сейчас, причем со стороны не только экспертов, но и весьма ответственных функционеров, приходится слышать слова: «обвал сырьевой экономики». Понятно, что «обвал» – это нечто совсем другое, чем плавное сползание. И такие слова – не оговорки и даже не риторические преувеличения. Снижение потенциала, основанного на сырьевых продажах, в принципе может принять именно обвальный характер – во всяком случае превышающий скорости социальной адаптации.

Какова вероятность такого развития событий? На мой взгляд, она гораздо более высока, чем кажется. Причем для серьезного кризиса сырьевой экономики вовсе необязательно, чтобы в мире появились дешевая альтернативная энергетика, сверхэффективные энергосберегающие технологии или что-либо столь же экзотическое (хотя и вполне реальное в стратегической и даже тактической перспективе). Гораздо раньше для нашей сырьевой экономики возможен выход к *нулю рентабельности*. Мы анализировали такие варианты в книге про Мегaproект. И я знаю, что на самый верх еще до кризиса приходили бумаги, расчеты – ну, скажем, от металлургов, – которые показывали, что если рост издержек будет продолжаться в том же темпе, то где-то уже к 2011–2012 годам эти отрасли окажутся просто нерентабельными. Рост тарифов, неизбежное повышение зарплат, социальный откат, административная рента и так далее – все это вполне определенная и устойчивая тенденция, альтернативы которой крайне туманны, а скорее всего,

просто отсутствуют. Поэтому ситуация критична даже при фиксированных ценах на сырьевую продукцию, не говоря уже о том, что вероятны варианты и со значительно суровой ценовой конъюнктурой. В этом смысле для России нынешний кризис – это скорее репетиция и предупреждение о куда более серьезных сценариях. И если даже сырьевики полностью заблокируют инвестиции в развитие или хотя бы поддержание технической базы в нормальном состоянии, они еще какое-то время продержатся, но потом все равно произойдет обвал, который будет еще страшнее.

Кстати, про обвал сырьевой экономики сказал в свое время один из претендентов в президенты с оборонным уклоном – он был тогда первым вице-премьером. Он сказал, кажется в Дубне, что «техничко-внедренческие зоны спасут страну, когда обрушится сырьевая экономика». Вопрос не в том, спасут ли (точно не спасут), а в том, что где-то в подсознании сама идея обрушения сырьевой экономики уже присутствует даже у функционеров. Хотя никто толком конкретных сценариев и последствий такого обрушения не прорабатывает. А зря.

Можно по-разному оценивать вероятность такого развития событий. Но при этом надо понимать, что подобные сценарии необходимо прорабатывать не в обычных вероятностных представлениях, а *в логике неприемлемого ущерба*. То есть даже при крайне малой вероятности таких сценариев их необходимо гарантированно блокировать, предотвращая варианты, *абсолютно неприемлемые*. Я это как-то иллюстрировал в беседе с одним весьма высокопоставленным функционером, который тоже рассуждал в привычной логике и говорил примерно следующее: «В принципе такой поворот событий возможен, но вообще-то как-то с трудом в это верится, думаю, скорее всего, обойдется...».

Я на это сказал: «Вот представь себе, что сейчас входит сотрудник ФСО и говорит: кабинет заминирован. Данные не уточнены, вероятность не очень большая, но она есть. И если рванет, то, скорее всего, минут через пятнадцать-двадцать, хотя может и через пару минут». И я спрашиваю: «Как ты думаешь, как мы будем эвакуироваться при таком прогнозе? С чувством собственного достоинства или опережая собственный визг?» Думаю, любой вменяемый человек эвакуируется мгновенно и без скидок на шансы, что пронесет, пусть даже очень большие.

Так почему к собственной, извините, пятой точке мы относимся несколько иначе, чем к судьбам страны? Ведь это всех нас самым непосредственным образом затрагивает, от бомжей до президентов и премьеров. Это как атомная станция: вероятность критичного сбоя может быть крайне мала, но зато уж если рванет, то накроет всех. А у нас прогнозные оценки (а соответственно, и стратегии) так и продолжают строиться на усреднении между оптимумом и обвалом, даже если с раскладкой на оптимистические и пессимистические варианты.

Следующий важный момент – это позиция экспертного сообщества. Для того чтобы что-то изменилось или хотя бы сдвинулось с мертвой точки, нужен местный, локальный футурошок. И это тоже скоро станет общим местом. Я здесь почти цитирую одного на редкость разумного эксперта одной на редкость продвинутой сырьевой компании. Необходим прогноз, наподобие Римского клуба, который основательно встряхнул бы сознание начальства и общества. У нас мобилизуются, не когда труба позовёт, а когда петух клюнет. Для начала подлинной модернизации нужен сильный мотив. А для этого нужен внятный, убедительный консенсус экспертного сообщества в отношении возможности экстремальных сценариев. И здесь не

будет никакой манипуляции со стороны экспертов: для основной корректировки стратегии достаточно признания, что экстремальные варианты в принципе не исключены. А для этого, в свою очередь, достаточно элементарного отсутствия ответственных суждений о том, что экстремальные сценарии в России *гарантированно* невозможны. Хотел бы я всерьез поговорить с такими оптимистами.

Теперь по поводу темпов нашей (и не только нашей) модернизации и некоторых ее особенностей в новой исторической перспективе. Мы все еще продолжаем говорить о модернизации в привычном режиме. Будет модернизация – хорошо, не будет – ну плохо, но все же не катастрофично. Потом, глядишь, через некоторое время нагоним, как это у нас в истории не раз бывало. Но ситуация сейчас меняется радикально. Эпоха догоняющих модернизаций – на исходе. В этом плане старая история заканчивается, человечество входит в принципиально новую историю. Мы привыкли, как Илья Муромец: тридцать лет и три года на печи лежал, потом вдруг встал (а у него там все уже чуть ли не обездвижилось), припал к родной земле – и всех впечатляюще победил. Мы так веками живем и «прогрессируем». Но этот *временно атрофируемый атлетизм* теперь уже не проходит. Отставания имеют свойство становиться необратимыми. Мир ровно сейчас стремительно делится на тех, кто успевает войти в поток инновационных изменений, и на тех, кто вообще уже никогда туда не войдет.

Далее, о запасе времени: а когда, собственно, обрушение сырьевой экономики может произойти? Как ни странно, этот вроде бы страшноватый вопрос теперь уже даже не второстепенный: при любых сценариях точки невозврата мы проходим именно сейчас. Даже если фундаментальный кризис сырьевой модели

разразится через десять, двадцать, тридцать, может быть, через сорок лет, то это практически не добавляет нам запаса времени: пропуск в инновационный мир приобретает либо сейчас, либо никогда. А без этого сырьевой кризис ни в какой перспективе не оставляет стране шансов на выживание, по крайней мере в этом политическом и геостратегическом формате. Еще есть какое-то время, но его крайне мало. Это все к вопросу об императивах нынешней модернизации и о том, что может быть, если на этот раз она не состоится, причем вовремя и в полном объеме.

Вовремя – это буквально «завтра». Если не «вчера». А в «полном объеме» – это значит не просто в экономике и технологиях, но и в политике, социальной жизни, во всей толще общественных отношений, культуры, сознания лидеров, элит и масс. Мысли о том, что в современных условиях можно будет опять совершить технологический прорыв с феодальными рудиментами в политике – опаснейшая иллюзия. Время «шарашек» безвозвратно ушло.

Теперь о том, как можно более определенно идентифицировать ключевую проблему нынешней модернизации. Пока все это выглядит, на мой взгляд, несколько упрощенно. Есть сырьевая экономика – надо перейти к экономике инновационной. Вроде все понятно. Но при этом не договаривается многое из того, что совершенно иначе представляет масштаб проблемы, а значит, и способы ее решения.

Если всерьез, то это проблема не просто сырьевой экономики. Это проблема изживания сырьевой истории, сырьевой традиции, у истоков которой стояли лен и пенька, а теперь углеводороды и металлы. Это проблема выхода из сырьевого общества, в котором в итоге сырьем оказывается буквально все. Наше самое высшее образование – это тоже сырьевая отрасль,

потому что мозги уходят на экспорт, причем не за деньги, а просто так. Научное знание – тоже сырье. У нас его тоже просто так полуфабрикатом забирают наши мировые конкуренты и реализуют не во вред себе, а мы сами со своими открытиями практически ничего сделать не можем (если только это не оборона или отдельные экспонаты, реальный смысл которых скорее идеологический, нежели функциональный). В этой системе отношений и народ – тоже сырье, расходный материал для войн, эпохальных строек и общенациональных экспериментов на живых людях, для предвыборных кампаний и повседневной пропаганды. Это такая особая цивилизация: сырьевая, перераспределительная, расходная... Отсюда и культ мобилизаций. Но если государство держится на перераспределении, а не на создании условий для производства, если богатство страны черпается из недр, а не создается трудом и инициативой людей, значит, здесь не нужны ни свобода, ни демократия, ни человеческое отношение к человеку.

В этом отношении Россия несчастна вдвойне. Мало того, что судьба одарила ее уникальным природным комплексом со всеми атрибутами «сырьевого проклятья». Она еще одарила ее на редкость изобретательным и достаточно активным народом, сделала страной с амбициями. Это внутреннее противоречие. Народ с инициативой мешает великой стране ароматно загнивать, подобно какому-нибудь маленькому и в прошлом отсталому нефтедобывающему государству. К тому же, когда людей в стране слишком много, перепады имущественного и социального расслоения становятся особенно явными, а в конце концов и вопиющими. Поэтому мы не эмираты.

Но мы не можем быть и маленькой инновационной державой. Даже если у нас появится своя Nokia, она никогда не займет

такого места в экономике и статусе страны, как в Финляндии. Большая страна всегда обречена на относительную автохтонность. Экономгеографы выделяют таких стран одиннадцать, и Россия в этот список входит. Здесь не выжить ни на одном сырье, ни на инновациях, которые к тому же будущие потери в сырьевых продажах никогда в достаточной мере не компенсируют. Более того, инновационная экономика без запроса собственно производственной сферы всегда будет опасно зависеть – начиная с драмы инвестиций и заканчивая трагедией внедрения.

Таким образом, в национальной стратегии вырисовывается еще одно важнейшее звено: пропущенная «середина» – собственно производство, располагающееся между сырьевым экспортом, с одной стороны, и инновациями, хайтеком, экономикой знания и т.п. – с другой. А это уже совершенно другая стратегия. Значит, либо мы должны без обеда и выходных инициировать и внедрять инновации, либо изначальная проблема не в том, что у нас мало инноваций, а в том, что мы почти ничего не производим, и чем дальше, тем производим все меньше и меньше, теряем порой целые отрасли.

А если первичная проблема в этом, то это выводит на уже существенно иную стратегию. Для инноваций надо что делать? Надо создавать инновационную систему. И вот начинаются технопарки, внедренческие зоны, передачи интеллектуального продукта, венчуры и так далее, включая, конечно же, искусственные, иногда почти насильственные инвестиции в режиме особо ручного управления. Это одна стратегия. Так можно генерировать инновации для их мучительного внедрения в экономику, но не экономику, генерирующую инновации. Но если мы говорим о том, что у нас, помимо всего прочего, есть еще «середина», что надо восстанавливать собственно производство,

в том числе среднеинновационное и среднетехнологичное – то там проблема другая. Там нужен не столько толчок, сколько демонтаж того, что сдерживает, исключает саму возможность конкурентоспособности при любых инновационных поворотах. Там надо не помогать, а для начала не мешать. Бессмысленно и просто опасно форсировать мотор, когда заблокированы тормоза. Так на Рублевке недавно сгорел новый Феррари.

Это внутренний конфликт, требующий разрешения. Прежде всего это конфликт идеологический, отчасти даже пиаровский. Соблазнять страну картинками инновационного будущего приятно, а до поры и политически реально. Ставить же задачу реиндустриализации в постиндустриальную эпоху – это уже далеко не так помпезно, а главное – выводит на обязательства крайне трудные и на слишком проверяемую отчетность. Симулировать инновационные успехи можно и по телевизору, и даже в официальной статистике, тогда как, например, несырьевой экспорт изобразить невозможно, если только не врать напрямую. Кроме того, это значит, надо менять сам тон разговора власти с обществом, признавать фундаментальные проблемы, прекращать рисовку на фоне будущего инновационного процветания и браться за рутину, в том числе за очень грязную работу. Хотя даже с пиаровской точки зрения это было бы правильно: в процессе передачи президентской власти из рук в руки под лозунгом преемственности курса создали явно перегретые ожидания – и в общих картинах будущего, и в отношении кошельков. Но уже давно пора менять тональность, в том числе в отношении послекризисного будущего.

Кроме того, тут есть и куда более серьезный конфликт. Сырьевая экономика и экономика производящая требуют разной институциональной среды и автоматически воспроизводят

разные институциональные среды. Но в стране институциональная среда может быть только одна. Так вот сырьевая экономика ежеминутно воспроизводит институциональную среду, которая для сырьевой экономики естественна и органична – это и коррупция, и все, что связано с распределением, и гипертрофия аппаратов, и административная рента, и административные барьеры и так далее, вплоть до политики разных уровней. Но эта институциональная среда для производства крайне неблагоприятна, а для инноваций просто губительна. Когда у нас говорят, что инновации сейчас в России можно запускать только в режиме ручного управления, то это правда, но от думающих политиков требуется не просто ввергаться в это ручное управление, издержки которого общеизвестны и очевидны, вместе с его стратегической бесперспективностью, а хотя бы разобраться в том, почему в стране без ручного управления ничего с инновациями не получается, – и начать работать прежде всего именно с этим. Автомобиль с заглушим мотором, конечно, можно толкать руками, но лучше все же починить: дорога длинная. И потом, если Россия именно так собирается въезжать в инновационное будущее, то это карикатура.

И тут оказывается, что мы попали в историческую ловушку. Как только мы пытаемся произвести сколько-нибудь серьезные изменения в институциональной среде, мы сталкиваемся не просто с инерцией. Мы сталкиваемся с сопротивлением, которое в момент, когда что-то реально начинает происходить, становится все более ожесточенным, а в итоге приобретает формы *войны за государство*. Я не боюсь этих, вообще-то суровых слов; я знаю, что говорю, по вполне конкретным ситуациям. Все наши начинания в плане совершенствования институциональной среды проходят достаточно мирно по одной простой причине: они ничего

серьезного не затрагивают. Они даже никого особенно не пугают. Когда говорят, что «теперь проверка придет к вам только с санкции прокурора при угрозе жизни и здоровью», это никого на самом деле не волнует. Те же проверяющие уже объяснили нашим предпринимателям, что теперь они будут оплачивать еще и санкцию прокурора. И все «на земле» еще до принятия этих решений прекрасно знали, что будет в реальности, если дело ограничится политическим сигналом и не пойдет вглубь, например в радикальное реформирование самой нормативной базы, которая позволяет усматривать угрозу жизни и здоровью на любом предприятии, «обследуя» его, не выходя из кабинета проверяющего.

И вот здесь сразу возникает очень жесткий вопрос. Если мы понимаем, что это война, то тогда мы должны планировать не только свои действия, но и тут же предвидеть ответную реакцию. Которую, кстати, все и так прекрасно знают. Возьмите любого, самого среднего предпринимателя, приведите его сюда и скажите: у нас в планах есть такая-то инициатива в вашу пользу – что будет в жизни? Он вам тут же расскажет, как в ответ на ваши действия будут выстроены новые административные барьеры, как будут восстановлены утраченные кормушки и так далее, как все это будет сведено к имитации, к псевдореформе, а затем и к контрреформе. Все все это знают. Значит, стратегия должна быть другая. Надо сразу просчитывать многоходовки: мы делаем одно, в ответ мы получаем другое, а вот уже в ответ на этот ответ мы предпринимаем также заранее спланированные меры и т.д. Включая самые свирепые контрдействия в отношении сдерживания, а тем более сворачивания реформ. Посадки нужны не столько в отношении ворующих, сколько в отношении тех, кто блокирует реформы, затрудняющие воровство. Только так можно на что-то рассчитывать. Хотя

в принципе здесь может обходиться и почти без боевых действий: если политическая воля определена, устойчива и внятно персонифицирована, аппараты ведут себя более-менее дисциплинированно, даже если во вред себе.

Какие могут быть движущие силы модернизации, и на что здесь можно надеяться?

Понятно, что без политической «крыши» точно ничего не будет. Но с другой стороны, рассчитывать, что институциональные реформы сверху спустятся вниз и реализуются в режиме такой своего рода эманации, – это, конечно, полная утопия. В том, что касается самореформирования, наша вертикаль власти практически не работает. Скорее всего, в этой авторитарной вертикали главная проблема даже не в том, что сверху вниз спускается самовластное действие, а в том, что полезные, но опасные для аппарата политические инициативы верха затухают буквально на следующих этажах управленческой иерархии. Эта вертикаль – палка о двух концах, причем нижний конец – часто куда более активный и упругий, чем верхний. Хвост сплошь и рядом рулит собакой. Все это видно на совершенно конкретных примерах: подчиненные манипулируют начальством, дозируя информацию, управляя составами совещаний, не говоря уже о подготовке проектов решений и редакциях итоговых формулировок.

Это явление – типичный *ведомственный сепаратизм*. Средняя и низовая бюрократия периодически создает ситуации, вполне сравнимые с обычным региональным сепаратизмом. Она создает свои «административные регионы»: со своими интересами, со своим правом и обычаями, со своим внутренним законодательством, которое они сами под себя выстраивают, со своими PR-акциями, даже со своими стратегиями и политическими линиями. Здесь в критических ситуациях на-

чинаются (правда, чужими руками) свои крайне агрессивные наступательные действия против опасных для бюрократии инициатив верха. И если власть каким-то образом сподобилась выстроить вертикаль между федеральным центром и регионами, то уже вот эту-то вертикаль в самой исполнительной власти не мешало бы выстроить. Если мы и можем говорить о сильном государстве, то только не в плане вертикальной управляемости при проведении давно назревших реформ.

Все это крайне важно еще и потому, что именно «внизу» выстраиваются повседневные контакты граждан с властью. А от этих контактов многое зависит, причем не только в плане отношения граждан к власти, к государству. На это завязана самая массовая предпринимательская активность, причем включая не только малый, но и основную часть среднего бизнеса. И даже всю сферу жизнедеятельности, так или иначе регулируемую государством. Мы примерно представляем себе, что такое микроэкономика, но ей соответствует и своя микрополитика, а в итоге все это упирается в то, что в новейшей политической философии называется *микрофизикой власти*.

Кроме того, на больших исторических дистанциях именно эти низовые отношения власти часто оказываются крайне влиятельными, если не решающими в ходе глубоких преобразований. Понимаете, исторический процесс – он многослоен. Это такая сложная геология. Есть то, что Бродель называл «пылью событий»; это быстрые, но достаточно поверхностные изменения. А есть глубокие слои, в которых изменения проходят крайне медленно: структуры повседневности, рутинные отношения, обыденное сознание, повседневные практики... Здесь изменения проходят медленно, они крайне инерционны, но они предельно важны для того, что происходит сверху. Эта инер-

ция не дает перескакивать этапы и совершать слишком быстрые политические рывки, как бы нам этого ни хотелось, но эта же инерция не дает сворачивать позитивные преобразования, если они зашли более или менее далеко и затронули достаточно глубокие пласты практик и сознания.

Нечто подобное произошло с хрущевской оттепелью. Там на уровне «пыли событий» происходили очень яркие политические изменения, но внизу общество не успевало продвинуться в достаточной мере, и потом оказалось, что все это очень легко свернуть, даже не вступая в явный конфликт с основной частью общества. Но вот потом начинается то, что все называют «застой». Наверху, на поверхности, это действительно производит впечатление застоя. Но мы видим, что внизу, в глубинных структурах сознания, в повседневных отношениях, общество вошло в застой одним, а вышло из него совершенно другим. За время застоя внизу, в глубине, продолжало медленно, но верно оттаивать то, что не успело оттаять во время оттепели, – хотя наверху уже явно подмораживало. В итоге страна вышла из застоя примерно с той же политической системой, но уже с другим народом! Поэтому потом оказалось достаточно пальцем ткнуть, чтобы система рухнула.

Я на этом подробно останавливаюсь, потому что, с одной стороны, это проблема асинхронности, вечная проблема забеганий и отставаний. А с другой стороны, это то направление, с которым обязательно надо работать. Когда мы работаем только на уровне поверхностных структур, не затрагивая низовые отношения, ничего хорошего не получается и все оказывается очень ненадежно.

Это еще и потому важно, что когда мы затрагиваем низовые отношения, мы получаем совершенно другую базу реформ,

гораздо более широкую и устойчивую. Взять ту же административную реформу, борьбу с административными барьерами и так далее. Все это на ранних этапах при нормальной постановке дела давало на редкость активное участие общества. Можно сколько угодно говорить, что у нас общество ни в чем участвовать не хочет, за свои права бороться не готово, что оно пассивное, апатичное и так далее. В массе это во многом так, но есть и другие люди в этой стране. И я вас уверяю: их гораздо больше, чем кажется. И это скорее проблема не общества, а системы. Социологи замеряют температуру тела, которое помещено в холодильник. Ведь даже отстаивать свои финансовые интересы, которые ущемляет чиновник, просто экономически невыгодно – даже если победишь, выйдет себе дороже. А в несколько других условиях у этого же общества может оказаться совсем другая температура гражданской активности. Поэтому здесь вопрос не столько о пропорции между активом и пассивом социального участия, сколько о том, как эта пропорция может измениться, если вы людям дадите возможность в поддержке институциональных реформ нормально участвовать. Я лично на своем веку видел, как позитивные инициативы поддерживаются, причем очень активно и основательно, как люди меняются просто на глазах. Но когда эти инициативы проваливаются по вине власти, происходит самое ужасное. Мало того, что происходит откат назад, – у людей появляется недоверие к следующим политическим инициативам. Это самое опасное.

То же имеет отношение и антизападническим настроениям, о которых здесь много говорили. Тут действительно есть элементы компенсаторного сознания и так далее. Но вы посмотрите на машину пропаганды, которая в этом направлении работает! Да тут никаких компенсаторных реакций не надо – одна

эта пропаганда из среднего человека сделает антизападника – просто потому, что она катком проходит по сознанию. Можно и нужно говорить о глубинных, объективных мотивах, но дайте этому обществу другой телевизор – и вы увидите, что все здесь далеко не так безнадежно. Поэтому когда власть говорит, что она соответствует массовым вкусам, настроениям, ожиданиям и так далее, надо всегда учитывать, что она же эти не самые лучшие настроения старательно культивирует. И вообще, власть не имеет права следовать отсталым массовым настроениям – пусть даже в ущерб части своей электоральной поддержки. Тем более если она сама же эти настроения признает отсталыми. Иначе получается, что мы вгоняем общество в еще больший инфантилизм, и всего-то ради... текущего рейтинга.

Хотел бы сказать и по поводу самой этой идеологической машины. У нас есть иллюзия деидеологизации, которая возникла в то самое время, когда мы, в том числе не без моего участия, записывали в Конституцию формулу о запрете огосударствления идеологии. Но с другой стороны, ведь надо понять, что это такое – идеологическое? Насколько оно вообще может быть элиминировано из жизни общества и даже государства? Ведь просто сказать, что впредь идеологии не будет. Это иллюзия. Вот Асмолов ответит: школа, например, может она без идеологии или нет? Например, школа рассказывает детям, какая у нас история, какая в России идентичность. Но у меня возникает вопрос: а школе кто все это рассказывает? Она же не сама это выдумывает! Вот есть издательство «Просвещение». Оно издает учебники, мы тут обсуждали эти тексты, концепции и стандарты. А издательству кто эти самые фундаментальные, мировоззренческие установки спускает? Они откуда берутся? Значит, либо это самодеятельность, либо где-то существуют теньевые

идеологические институты и структуры. Формально их нет, они не прописаны нигде, но они работают, причем практически вне общественного контроля. Поэтому, мне кажется, необходимо обсудить ситуацию с идеологической машиной, сделать эту ситуацию эксплицитной как для понимания, так и по стилю работы. Надо еще понять, как эта машина вообще может работать не вопреки Конституции, не в тени, коль скоро она все равно работать будет. Это место пусто не бывает!

И последнее. Еще Жданов в свое время... он, конечно, сволочь отменная, но вообще-то не дурак был, когда говорил, что ему достаточно задачника по арифметике, чтобы упаковать всю идеологию. Если учесть еще, что кроме явной идеологии существуют и ее латентные формы, работающие на уровне бессознательного, – так тут вообще непаханое поле деятельности!

Грин С. Постараюсь коротко, но с некоторым предисловием в том плане, что я не очень воспринимаю идею технической модернизации и не буду о ней говорить, потому что можно сколько угодно обновлять техническую обстановку, но ничего на самом деле не изменится.

Вспоминается рассказ моего друга, который служил в Корпусе мира в Республике Габон, где, по его словам, в самых необеспеченных деревнях в домиках нет ни воды, ни электричества, но есть DVD-плееры, потому что кто-то задавал такую моду и у кого-то была возможность купить.

Здесь дело в другом – в общественных, во многом стихийных процессах, которые не связаны с технологией и техникой.

И в этой связи возникает проблема. Пытаясь ответить на вопрос, какими признаками характеризуется устойчивая особенность российской модернизации, необходимо прежде всего

понять, а есть ли модернизация? На мой взгляд, она есть, но называть ее российской сложно, потому что она происходит, как и все в сегодняшней России, на почти исключительно личном уровне. Это личная интеграция в новое географическое, экономическое, политическое, культурное пространство, которое (не только из-за технологий, но и из-за структурных изменений в России и мире) становится доступным гражданам.

Есть ли культурные особенности – я не очень вижу. Есть разрозненность населения, которая, по-моему, происходит в силу структурных особенностей общественных и государственных отношений. Здесь есть и исторический момент, о котором говорил Эмиль Абрамович Паин, – исторически обусловленное почти полное отсутствие укорененных горизонтальных социальных институтов, будь то связанных с землей, с церковью, да почти с чем угодно, за исключением некоторых частей страны, таких, например, как Северный Кавказ.

В то же время я не считаю, что Россия инертна, апатична или что российский народ пассивен. На мой взгляд, российский гражданин постоянно инвестирует в прочность своих личных стратегий. Стратегии – для кого-то это выживание, для кого-то это продвижение дальше в своей личной жизни. Но эта работа требует чрезвычайно активных и затратных инвестиций со стороны каждого гражданина.

В отсутствие горизонтальных социальных институтов и проникающих государственных институтов, которые задавали бы институциональные условия поведения и взаимодействия гражданина с государством как монолитной структурой, а не индивидуальным чиновником, который не ограничен законом, а пользуется им в своих личных интересах, руководствуясь своими представлениями о том, как это положено делать, человек выра-

бывает личные стратегии. Он не видит особой пользы от коллективных стратегий и во многом прав: коллективное решение в отсутствие возможности государства реагировать коллективным образом достаточно бессмысленно для большинства людей. И ценностью, опять-таки, является именно личная стратегия.

Я боюсь, что личная модернизация российских граждан является врагом общественной модернизации. Потому что человек, который так много инвестировал в свою личную жизнь, возводит вокруг себя по сути крепость, чтобы никакие внешние факторы не могли разрушить то, что ему удалось для себя построить. Он будет противиться практически любым изменениям, которые могли бы эту структуру расшатать.

Есть ли решение этой проблемы, если мы все-таки хотим некоторой, скажем, либерализации, изменений в стране? (Вернее, если вы хотите; я здесь гость.) На мой взгляд, оно заключается только в построении проникающих государственных институтов. И в общем-то неважно, демократические они или авторитарные. Реакция последует по-любому. А сейчас ее нет потому, что институтов нет. Каждому гражданину есть на что реагировать; подъезду, дому – может быть, есть; а району, городу, стране – нет. Иногда что-то появляется – будь то протесты водителей праворульных машин или акции профсоюзов, – но локальное и недолговременное. Именно потому, что то, на что они реагируют, является локальным, недолговременным и не институционально оформленным аспектом государственной жизни. Но является ли это социокультурной особенностью – мне сложно сказать. По-моему, нет.

Реплика. Сэм, а какие институты могли бы быть?

Грин С. Это могла бы быть и идеология; и репрессия, если бы государство решило, что это нужно сделать; и местное самоуправление, которое на самом деле что-то решает. И если мы видим, где остается хоть какая-нибудь общественно-политическая жизнь в стране, то она на местах, в небольших городах, где и депутатов гордумы, и мэра, может быть, знаешь, и есть неформальные рычаги влияния на их самочувствие.

Дробижева Л.М. В 1990-е годы была такая расхожая фраза: «Мы сели в самолет, он уже летит, но мы не знаем точку назначения». В этом отношении в 2000-е годы ситуация все-таки изменилась. Я очень ценю Левада-Центр, но вынуждена в чем-то поспорить. Так бывает в семьях, часто спорят между собой люди, которые друг друга любят. Работая с данными Центра, я вижу нечто отличное в оценках негативизма.

Это вопрос о негативной солидаризации за счет формирования «образ врага». Если проанализировать 1990-е и 2000-е годы, то во многом негативная солидаризация ситуативна. Когда появился рост негативизма? После начала бомбежек в Сербии. Это была защитная психология у людей и непонимание – нас критикуют за военные операции на сепаратирующей территории внутри страны, а сами бомбят чужие территории. Негативная солидаризация как мобилирующий или отвлекающий фактор (переключающий внимание масс) используется во всех государствах. Но это как «надутый мешок», он опадает (если его не поддувают), особенно если нет одномерной «исторической памяти». Вспомним, как Сталин вел политическую кампанию против Тито. С Югославией у нас тогда были напряженные отношения, а сербы к русским и русские к сербам как положительно относились, так и не изменили этого отношения.

В какой-то мере это повторяется сейчас с Украиной – межгосударственные отношения напряженные, а отношения между русскими и украинцами остаются на достаточно благоприятном уровне взаимопонимания. Очень многое зависит от лидеров государства и от позиции элитных групп. Конечно, они конструируют образы, формируют общественное мнение, но все же есть исторически сложившиеся тренды отношений, и они нередко сопротивляются внедряемым идеям.

Мне кажется, что оценивать негативную солидаризацию как культурологическую особенность нашего общества все-таки было бы преувеличением.

Далее, крен, который нам предлагает сделать Сэм Грин – посмотреть на Россию не просто как на целое, а как на Россию регионов, – мне очень импонирует.

В Институте социологии РАН немало исследователей работают по регионам. И в чем я убеждаюсь? Негативная солидаризация срабатывает в застойных районах с бедным населением, для которого нужен «козел отпущения», а районах более модернизированных люди мыслят критичнее и прежде всего анализируют, кому и зачем нужно формировать образ врага.

Хотелось бы еще обратить внимание на то, что социологические данные нередко стирают суть явлений, которые мы можем понять с помощью качественных методов, прежде всего глубинных интервью. Например, мы все знаем, что небольшая доля наших респондентов поддерживает демократию. Но дело в том, что антидемократические установки нередко высказывали те респонденты, которые совсем не хотят лишиться свободы слова, свободы СМИ, свободного выезда в западные страны и даже хотят иметь возможность инициативы в деловой жизни и ценят востребованность инновационного поведения. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что доля людей, ориентированных на либеральные ценности жизни, намного больше.

В этом отношении также важно посмотреть на регионы. В некоторых из них мне приходилось работать по месяцам (это метод включенного знания), и я могу констатировать, что, например, в отдаленных от Центра Саха (Якутии), Магаданской области, про которые часто говорят, что вот-вот они отвалятся, настроения обычных людей совсем не такие. Именно здесь есть инновационный потенциал. Об этом свидетельствуют дискуссии, которые проводились Институтом «Открытое общество», и Эмиль Паин может это подтвердить.

Другой вопрос, на который мне бы хотелось обратить внимание с точки зрения модернизационного процесса, – это молодая поросль профессионалов, которая готова взять ответственность на себя. Это трансрегиональный слой. Наличие такого слоя мы фиксировали и в Екатеринбурге, и в Казани. Исследование, проведенное по проекту «Будущее России» и поддержанное международными фондами, фиксировало наличие такого слоя людей в Томске, Калининграде. В последнее время осуществлялось исследование в сочинском регионе, который сейчас находится в центре внимания. Уровень инновационных установок у русских, армян, украинцев, греков там достаточно высок. Этот результат мы получили по тем же индикаторам, которые использует Левада-Центр.

И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, – это вопрос об атомизации, о которой говорил Эмиль Паин.

Во-первых, не думаю, что атомизация общества – однозначно негативный фактор, а во-вторых, он работает практически во всех современных обществах. Проблемы, связанные с соединением атомов – интеграцией, – стоят не только в России.

Если мы посмотрим на небольшое в сравнении с нашей страной пространство в Европе – Германию, Голландию, Люксембург, Бельгию, мы увидим, насколько особенны эти государства по тренду встраивания в глобализационные и модернизационные процессы. Но они интегрированы. Это одновременно и страны Бенелюкс, и Евросоюз. Естественно, в нашей стране такое разнообразие будет еще больше. И если мы начнем ориентироваться все-таки на точки развития, то, мне кажется, оснований для пессимистических оценок у нас станет меньше.

Рогов К.В. Я отчасти поддержу Леокадию Михайловну Дробижеву, как бы прямо в продолжение, и начну с такого воспоминания.

Когда я в первый раз оказался на Западе в 1990 году – это была Бельгия и Западная Германия, – очень многое меня поразило там. Естественно, сейчас это уже кажется странным, но очень поразили меня супермаркеты. Моя главная мысль, когда я возвращался на родину, заключалась в следующем: ну, коммунистам осталось год-полтора, то есть демократия у нас через полтора года будет, а таких магазинов ждать еще лет двадцать. Мне казалось, что это совершенно не в русской культуре: вот этот светлый, прекрасный, просто храм какой-то, где все есть.

Оказалось все ровно наоборот. Супермаркеты появились в 1996–1997 годах, вполне похожие на те, которые я видел в 1990-м в Западной Германии.

Здесь важно не только то, как мы представляли себе демократию в 1990 году – не понимая, что это не только отсутствие КПСС, – но и то, что в 90-е годы Россия продемонстрировала колоссальную адаптивность к западным институтам на микроуровне.

Масса всего со страшной легкостью моментально усваивалась и продолжает усваиваться, и, например, говоря о каких-то социальных связях и социальной среде, мы можем сказать не только много негативного про разрушение этих связей, но и про то, как городская культура тоже мимикрирует, усваивает западные стандарты. Что-то, однако, мы чувствуем, не усваивается никак. И мы все время пытаемся определить это что-то, что было уже отчасти сформулировано в некоторых предыдущих выступлениях. Я хотел бы, опираясь на них, попробовать уточнить этот предмет.

Остановлюсь на проблеме ресурсного государства, о которой говорил Эмиль Паин, и не менее важном тезисе Льва Гудкова о том, что наиболее архаической выглядит политическая структура общества.

Как известно, не все государства с богатыми ресурсами подвержены ресурсному проклятию. Я бы сформулировал эту проблему, которая является и экономической, и культурной одновременно, как сформировавшийся социально-государственный уклад, основанный на перераспределении ренты. Причем это вовсе не обязательно нефть. Этот уклад мы видим в XVII и XVIII веках – тогда в качестве источника ренты выступала земля. Но основные принципы и приемы этого уклада вполне сформированы. Это когда центральное правительство в своих руках концентрирует максимум источников ренты, а дальше начинается распределение. Оно выращивает латифундистов, формирует механизмы лояльности через дачи, фаворитизм, передачу земли. Причем эта передача земля обратима, то есть кто-то потом впал в немилость – все отняли и послали в Сибирь.

Есть и другие важные особенности этого уклада. Одна из них характерна именно для России: при том, что ресурсов

очень много, они дорогие. Стоимость их извлечения высока. Земли очень много, но она, как правило, очень плохая. Наша минеральная база – самая огромная в мире, но стоимость извлечения и доставки на рынок очень высока.

Это толкает к централизации рентных ресурсов, появлению макроигроков, которые могут это контролировать. Второе следствие – мерцающая достаточность ренты для социального мира. То есть в те моменты, когда у нас высокая цена на нефть, мы практически сверхдержава, а как только цена опускается – мы становимся другой страной, которая просто не соответствует тому паттерну, и ищем себе совершенно иной тип существования.

Еще одной особенностью, связанной с довольно дорогими источниками ренты, является то, что центральное правительство не может полностью контролировать страну. Оно создает как бы пирамиду, состоящую из отдельных пирамидок, передавая возможности по контролю территорий определенной администрации, которая извлекает из них ренту.

Сейчас, по-моему, стало особенно очевидно, что этот механизм имеет очень много общего как раз не с советским, а с досоветским опытом российского социально-политического уклада.

Такой мой взгляд в значительной степени полемичен по отношению к теории ресурсного государства Симона Кордонского – то, что его нет в этом зале, только облегчает спор с ним... Я хочу несколько демифологизировать его подход. Это скорее политическая проблема, связанная с социально-политическим укладом, сформировавшимся давно.

Понятно, что она заключается не в том, что есть какой-то злой человек, который все время хочет присвоить ренту, а в

том, что даже если вы являетесь искреннейшим демократом и либералом и отказываетесь перераспределять ренту, то формируются другие центры силы, где начинается ее перераспределение, и вы просто утрачиваете власть и она перетекает туда. Эта модель воспроизводится, блокируя конкуренцию и, соответственно, усвоение других институтов, которые рассчитаны на конкурентную среду.

Какие могут быть выходы? Я предложу два возможных выхода из этого порочного круга.

Один из них, как мне представляется, осуществится в России с восьмидесятипроцентной вероятностью. Думаю, что демократизация и либерализация в России будут разворачиваться не в вертикальной плоскости, а в горизонтальной. Мне кажется очень маловероятным в ближайшее время формирование действительно интегрированных партий, которые контролируются какими-то гражданскими структурами, то есть снизу, а не сверху, не являются клиентами, а вырастают как партии.

Сомневаюсь и в том, что они выступят в качестве ограничителей для централизации ренты. Мне кажется гораздо более вероятным развитие по модели, которую я бы условно назвал американской: ограничения на возможность централизации ренты могут быть поставлены при реальной федерализации как заявлении прав территорий. Потому что практически все источники ренты находятся вне Москвы. В какой-то момент это может сделать абсолютно невозможным то централизованное перераспределение, в которое всякий раз и складывается эта пирамидка.

Это, правда, не решает задач экономического процветания России, хотя и открывает возможность для внедрения некоторых конкурентных механизмов, которые перекрываются централизованным распределением ренты.

Но наиболее оптимальный и весьма простой технологически способ превратить Россию в передовую экономическую державу XXI века – увеличить ее население хотя бы вдвое.

В конце 1970-х годов многим аналитикам казалось, что Китай обречен на гибель, потому что не сможет прокормить себя в скором времени из-за перенаселенности. Через тридцать лет Китай стал второй экономической державой мира, используя этот фактор как мощнейший рычаг своего подъема.

В России огромный избыток территории – это то, чем мы можем воспользоваться. Увеличение населения вдвое меняет очень многие вещи. Во-первых, невозможно больше организовывать социальный мир, основанный на перераспределении ресурсной ренты. Просто ее не хватает уже всегда (сейчас она по синусоиде – то хватает, то не хватает). Совершенно меняется стоимость инфраструктуры (сегодня у нас слишком мало машин на такую протяженность дорог), объем внутреннего рынка. И наконец, в условиях глобализации, когда технологии очень легко копируются и заимствуются, количество рабочих рук становится одним из важнейших факторов роста экономики, гораздо более мощным, чем это было, скажем, тридцать-сорок лет назад, когда технологии значили гораздо больше.

Так что если действительно захотеть стать мощнейшей экономической державой XXI века, у России есть для этого все возможности. Вот, например, Япония – это страна, территория которой занимает 2,2% от территории России. Живет там примерно столько же населения, сколько в России, ресурсов нет никаких, а ВВП в два с половиной раза больше, чем наш. Это показывает, что нет ничего невозможного.

Паин Э.А. Мне понравился оптимизм Кирилла. Я только подумал, что простые решения часто бывают сложнее сложных. Например, понятно, что федерализм уменьшил бы централизацию, но именно поэтому к федерализму у российских властей отношение настороженное: как только он появляется, его сразу же воспринимают как сепаратизм. Понятно, что если бы мы перешли от дефицита демографических ресурсов к их избытку, то многое могло бы измениться. Понятно, что быть здоровым и богатым лучше, чем бедным и больным. Но вот как это все сделать?

Межуев В.М. Для начала два предварительных замечания. Здесь не раз звучало слово «философский» – вот я и буду говорить как философ, не претендуя на роль экономиста, социолога или политолога. Сразу же скажу, что мне, пожалуй, ближе всего тот вывод, к которому пришел Лев Дмитриевич Гудков, хотя у него он основан на социологических опросах, а у меня просто на здравом смысле.

Когда я слушал тех, кто выступал до меня, у меня сложилось впечатление, что они говорили о чем угодно, но только не о модернизации. Ведь модернизация, как я ее понимаю, – это не просто любая инновация. Конечно, в обыденной речи модернизацией называют любое техническое или какое-то иное хозяйственное новшество, усовершенствование. Придумали более совершенную технологию – вот тебе и модернизация. Но тогда модернизацией можно назвать и переход от скотоводства к земледелию, а все учебники по истории переименовать в учебники по истории модернизации. Всякое обновление является модернизацией, но это не совсем то, что понимается под модернизацией в общественной теории.

Теория модернизации, возникшая в 50-х годах прошлого века, обозначала этим термином нечто совершенно иное, а именно переход (транзит) традиционного общества к обществу нового типа, к обществу модерна (или к так называемому современному обществу), которое следует отличать от общества, которое ему предшествует, от домодерна. Переход от домодерна к модерну и называют модернизацией. Следующий переход, от модерна к постмодерну, – это уже совершенно иная стратегия развития, отличная от модернизации. Ее преимущественно разрабатывают те, кого сегодня называют постмодернистами. О них у нас сегодня речи нет. Но вот в чем состоит модернизация, в которой нуждается Россия, – об этом можно судить лишь после того, как станет ясно, чем модерн отличается от домодерна. Во всяком случае, как мне кажется, он не сводится к одной лишь инновационной экономике.

Думаю, не погрешу против истины, если определю домодерн как общественное состояние, в котором господствует традиция (или обычай), его потому и называют традиционным обществом, а модерн – как господство разума, или *ratio*, как рационализацию всех форм жизненного поведения человека. В отличие от традиционного рациональный тип поведения напрямую связан со способностью человека мыслить и действовать в свободе. Лишь с того момента, как человек начинает решать проблемы своего личного и общественного бытия, сообразуясь с собственным разумом и волей, освобождается от власти традиции, можно говорить о наступлении эпохи модерна.

Модерн, или модернити, как его называют на Западе, возникает в совершенно особых обстоятельствах. Обычно его связывают с переходом от Средневековья к Новому времени. И для его появления действительно требуется ряд существенных

подвижек в общественном сознании и культуре. Вот здесь кто-то назвал нашу модернизацию вестернизацией, понимая под этим, видимо, простой перенос на российскую почву западных экономических и политических моделей. Но тогда встает вопрос: что стало причиной появления модерна в самой Европе? Ведь не с неба он тут свалился. Ему здесь тоже что-то предшествовало. Когда-то и Европа – еще до возникновения греческого полиса – была во всем подобна Азии. И европейское Средневековье – это еще не модерн в точном смысле этого слова. Каким же образом Европе удалось перейти от домодерна к модерну?

Любой историк знает, что переход от традиционного общества к современному (а это и есть модернизация) – один из сложнейших исторических процессов. Можно задним числом констатировать такое переход, но само его осуществление, как правило, скрыто от сознания участвующих в нем людей. Можно ли превратить модернизацию такого масштаба в сознательно осуществляемый процесс? И каким должно быть это сознание? Почему модернизация удалась в Европе и не всегда доводилась до конца в других частях света (например, в большинстве стран Латинской Америки)? Тут называли Японию, но не следует забывать, что вхождение Японии в современность стало возможным после военного поражения, было оплачено двумя атомными бомбами. И Германия стала полностью современной страной лишь после того, как проиграла две мировые войны. До того ее называли «Китаем в Европе». Решая российские проблемы, следует внимательней присмотреться к тому, что потребовалось Европе для того, чтобы стать современной. Существуют ли и у нас все необходимые предпосылки для вхождения в современность? Кажется так, насколько я понял, поставили вопрос инициаторы этой дискуссии.

Главной такой предпосылкой, как я думаю, является согласие людей относительно того, в каком обществе они хотят жить, что считают для себя современным. Спросите у наших людей об этом и получите самые разные ответы. Одни хотят в Европу, считают, что мы – часть Запада, другие – что мы особая статья, третьи – что Европа и Азия одновременно. Европейцы не спорят о том, к какой цивилизации принадлежат, у нас же спорят только об этом. Потому наши споры столь непримиримы. Не только в обществе, но и в наших элитах нет консенсуса по этому вопросу. А без него, без согласия по вопросу о том, что считать современным, о какой модернизации может идти речь?

Модернизация, как нам объясняют многие экономисты, – это прежде всего переход к рыночной экономике капиталистического типа. Ее называют также инновационной, эффективной, социально ориентированной экономикой или как-то еще, но в любом случае именно в ней видят главную цель модернизации. Я сильно сомневаюсь в том, что модернизацию можно ограничить только экономическими достижениями. Рынок, как известно, возник задолго до модернизации и безотносительно к ней, а капитализм стал его естественным продолжением. Это, если угодно, стихийный и объективный процесс, который нельзя декретировать никакими указами. Модернизация, как я понимаю, начинается с перехода не к капитализму, а к правовому государству, будь то в форме республики или даже конституционной монархии. Модернизация системы политической власти и является сутью всего процесса модернизации, без чего переход к современности нельзя считать полностью завершенным. И только такая модернизация способна обеспечить нормальное функционирование и развитие рыночной экономики в долгосрочной пер-

спективе. А вот с этой модернизацией у нас не все в порядке; как только дело доходит до нее, весь процесс откатывается назад.

Что же препятствует в России политической модернизации, или, говоря иначе, демократизации и либерализации власти? В этом пункте и возникает сомнение в наличии у нас необходимых культурных предпосылок для такой модернизации. Эти предпосылки складывались в Европе на протяжении нескольких веков, охвативших собой эпоху Возрождения, Реформации и Просвещения. У нас же не было ни Возрождения, ни Реформации, а Просвещение остановилось где-то на полпути, затронув лишь верхний слой российского общества. Дальше не пошло. Именно в ходе духовной трансформации европейского средневекового общества сформировался новый тип личности – индивид, осознавший себя свободным и автономным существом, наделенным от природы правами человека и гражданина. Это сложный и долгий процесс, о чем здесь нет возможности подробно говорить, но без него модернизация практически невозможна, обрывается в самом начале, ограничивается в лучшем случае отдельными техническими инновациями преимущественно в области обороны и военного строительства, а то и оборачивается демодернизацией, возвратом вспять, ужесточением режима личной власти. Разве не это мы наблюдаем на протяжении всей нашей истории?

Если говорить совсем просто, модернизация – это переход к гражданскому обществу и демократической власти. А демократия – власть не любого народа (иначе ее можно было бы легко установить в любой точке планеты), а такого, который состоит из лично свободных людей. Демократия – это власть граждан. Превращение народа из этнической общности в коллектив граждан, в гражданское общество и есть, на мой

взгляд, основное содержание всего модернизационного процесса. Без него не будет ни капитализма, ни инновационной экономики, ни всего остального. Если кто считает, что у нас этот процесс завершился и нам остается лишь экономически подтянуться до уровня высокоразвитых стран, то он, как мне кажется, сильно ошибается.

Государство само по себе вряд ли способно эффективно выполнять функцию субъекта технической и экономической модернизации (хотя именно оно брало на себя эту функцию во все периоды нашей истории). Таким субъектом могут быть только люди, прямо заинтересованные в экономическом прогрессе, – бизнесмены и предприниматели. Но чтобы такие люди появились и получили возможность самостоятельно действовать, их нужно освободить от излишней административной опеки со стороны государства. И уж тем более не государство должно быть источником обретения частной собственности. Оно должно гарантировать каждому человеку право на собственность, но не саму собственность, которую он может приобрести только на рынке. Власть как источник собственности (столь отчетливо заявившая о себе в этом качестве в ходе нашей приватизации) всегда будет пренебрегать правом, никогда не будет ни либеральной, ни демократической.

Но кто может модернизировать или просто реформировать такую власть, придать ей правовой характер? Модернизация, инициируемая властью, может затронуть у нас кого угодно, но только не саму власть. Место, занимаемое властью, почти что сакрально, неприкосновенно, любая модернизация его обходит. Могут поменяться правящие элиты, эмблемы и титулы власти, но сам принцип централизованной и единоличной власти остается у нас неизменным. Это и есть наша традиция. Потому и модернизация

у нас шла всегда сверху вниз, под строгим наблюдением и контролем власти, не распространяясь на саму власть. Какая же власть захочет сама себя модернизировать? А для модернизации власти снизу не хватает тех самых свободных и сознающих свою автономию граждан, которые только и могут составить социальную базу подлинной модернизации. Вот и крутимся до сих пор как белки в колесе нескончаемой, триста лет продолжающейся модернизации, а воз вроде бы и ныне там.

Еще одно соображение. Для осуществления модернизации необходимо признание собственной несовременности, исторической отсталости, если угодно, определенной социальной и цивилизационной неполноценности по сравнению с более передовыми странами и народами. Подобное признание равносильно «хронополитической травме», болезненно переживаемой многими людьми. Кому охота считать себя хуже других? Но только такое сознание побуждает к преодолению своей отсталости от более современных обществ и государств.

У какой части населения может возникнуть такое сознание? Для тех, кто привык жить по «обычаям старины», такой проблемы просто не существует. Они никогда не согласятся с тем, что чем-то хуже других, отстали от них во времени. Ощущение несовременности своей страны присуще обычно тем, кто в ситуации всеобщего бесправия и единомыслия имеет хоть какой-то опыт личной свободы и самостоятельного мышления. В России такие люди появились впервые в среде образованного дворянства, а затем разночинства, создав особое сословие, получившее название интеллигенции. Именно в среде интеллигенции вызрела идея необходимости политической и социальной модернизации страны, ее превращения в страну современного типа. Что с ними произошло в результате революции, которую они

же и подготовили, все знают. Их финал Г.П. Федотов назвал «трагедией интеллигенции».

И здесь, как мне кажется, заключена вся проблема: кого сегодня в России можно считать субъектом модернизации? В способность чиновников осуществить ее я не верю, народ в большинстве своем благоволит к авторитарной власти и весьма скептически относится к любой оппозиции, которая к тому же весьма разнородна и малочисленна, наши олигархи, получившие собственность от государства, целиком зависят от него. Кто еще? В этом и состоит мой спор с Эмилем Абрамовичем, который более оптимистичен в своих прогнозах.

Паин Э.А. Вообще не было спора.

Межуев В.М. Прямого спора не было, но он подразумевался. Вы утверждаете, что в нынешней России нет ничего такого, что препятствовало бы модернизации, что она уже не та страна, что была раньше, а наш народ полностью освободился от старой традиции почитания власти как сакральной ценности. Я же думаю иначе. Сама по себе смена большинством населения образа жизни – с сельского на городской – ничего не изменила в традиционном отношении народа к власти. Даже переселившись в город, крестьяне не стали пока ни буржуа, ни гражданами, в лучшем случае они превратились в наемных работников у государства. Государство для них – столь же далеко отстоящее от них дело, как и раньше. Народ может любить или ненавидеть власть, но вряд ли видит в ней свое собственное отражение. Она для него скорее хозяин (господин), чем тот, кого он нанял на время для исполнения нужных ему обязанностей. Да и власть, похоже, – точнее, те, кто оказался во власти, – при всей ее демократической риторике видит в народе не своего хозяи-

на, а слугу, обязанного во всем ее слушаться и подчиняться. Откуда берется такое отношение? Да все из той же идущей из прошлого традиции, которую Вы отрицаете.

Природа русской власти, точнее, самовластия – тема для особого разговора. Об этой природе много написано нашими историками. Я не уверен, что за прошедшие столетия она сильно изменилась. Как и встарь, государство видит в народе всего лишь сырой материал, из которого можно лепить все что угодно: вчера тащили его в атеизм, сегодня – в православие. В России не государство для народа, а народ для государства. Что выгодно власти, то хорошо и для народа. Там мы воспитаны. По известному выражению Ключевского, «государство пухло, народ хирел». А по словам русского поэта, «в России две напасти: внизу власть тьмы, сверху – тьма власти». И так ли уж много изменилось за прошедшее время? Если от чего и надо спасать русский народ, так, как я думаю, прежде всего от такого государства.

На чем держится такой порядок? Здесь мы сталкиваемся еще с одной традицией, которая сегодня усиленно воспроизводится. Одним из главных препятствий на пути модернизации, как я ее понимаю, является наша Православная церковь в ее нынешнем виде, весьма враждебная к либеральным ценностям и идеям. Начиная с Петра, ликвидировавшего патриархию, РПЦ превратилась в своеобразный государственный департамент, ответственный за отношение государства с небом. Все же, что касалось самого народа – не только его защиты от угрозы внешнего нападения и физического выживания, но и состояния его духа, – было отдано на усмотрение государственной власти, стало предметом ее прямого попечения. Государство как бы взяло на себя ряд церковных функций, вменив себе в обязанность заботу о нравственном здоровье народа. Отсюда и наш тотали-

таризм, под которым я понимаю не просто власть ради власти, а власть ради морали, но только морали, насаждаемой политическими средствами, т.е. средствами насилия. Мораль, основанная на насилии, – самый страшный вид насилия.

Народ для такого государства – малый ребенок, несмышлениш, которого можно любить, но и строго наказывать, если он ведет себя не так, как надо. И разве можно дать ребенку полную свободу? Демократия в глазах такого государства и тех, кто его защищает, – это политика без морали, способная нравственно развратить народ, свернуть его с истинного пути. Все защитники самодержавия были против демократии не потому, что оправдывали насилие и террор, а прежде всего потому, что видели в ней источник нравственной порчи народа. Так ли уж сильно отличаются доводы противников демократии в наши дни?

И партия большевиков была построена по принципу церкви, но только церкви без Бога. Место Бога заняли вожди, а поклонение им заменили собой религиозные праздники. Протестанты, упразднив католическую церковь, Бога сохранили, мы же, сохранив церковную организацию власти, Бога упразднили. Это и есть наша Реформация. Русская церковь так и не смогла до конца превратить русского человека из язычника в христианина. Это и есть наши культурные предпосылки, с которыми мы собираемся жить в современности. Называйте их культурой или еще как, но я сильно сомневаюсь, что с такой культурой можно успешно модернизироваться.

Паин Э.А. А почему не культура? Это все культура и есть.

Межуев В.М. Если это культура, как с ней жить в модерне? Об этом я и спрашиваю. Что же остается делать? Ждать, когда опять народится класс людей, готовый и способный к

демократическим переменам? Есть ли у России на это время? Задумываясь об этом, невольно приходишь к выводу, который здесь сделал Лев Дмитриевич. Мы, конечно, вполне способны к каким-то техническим инновациям (создаем же мы ракеты, летаем в космос), но достаточно ли этого, чтобы быть и считать себя современной страной, конкурировать на равных с другими? На этот вопрос у меня нет ответа.

Паин Э.А. Практически все, что Вы говорили, для меня бесспорно (я, кстати, то же самое говорил и писал, например в книге Института Кеннана «Российская модернизация: размышляя о самобытности») за исключением одного момента. Я не считаю названные российские особенности *непобедимыми, неустрашимыми и уникальными*. Вот в этом – суть наших разногласий. Вы говорите – нет граждан. В империях и не могло быть граждан. Еще в XX веке, помимо нашей империи, было несколько соседних. И там были те же проблемы: церковь, сращенная с государством, которое занималось идеологией, а не экономикой. Но рядом жила другая империя, Османская, где было все в сто раз больше, потому что это был халифат, абсолютно теократическое государство, но там произошла модернизация.

Вот сейчас мы занимались Азербайджаном, и я был поражен тому, насколько для его жителей Турция – пример правового государства. Они оценивают Турцию прежде всего как государство, где есть суд.

Далее, Вы говорите, что спрос на перемены рождается после исторической травмы, и некогда такой травмой были только проигранные войны. Да, но в 1991 году войны мы не проиграли, а спрос на перемены был массовым: 67% опрошенных россиян, по данным тогдашнего ВЦИОМа, говорили: «Социализм завел нас в тупик, мы не современны, догоним – перегоним».

Межуев В.М. Вы уверены, что это была тоска по современности, а не, скажем, по бюджету и дефицитным товарам?

Паин Э.А. Такая идея и в таких же формулах возникала многократно у многих народов, во многих обществах. Но я не буду сейчас с Вами спорить, потому что это длинный спор. Я просто хотел обозначить суть наших разногласий. Я солидарен с Вами в том, что многие современные проблемы вытекают из особенностей российской истории и культуры, но я не считаю эти особенности вечными и фатально предопределяющими российский путь. Большинство наших проблем вовсе не связаны с тысячелетней историей, а обусловлены ситуативно имперско-ресурсной цивилизацией, о которой говорил Рубцов.

Майофис М.Л. На мой взгляд, сегодняшняя дискуссия разделилась примерно на две части: в первой отвечали на вопрос «Кто виноват?» (в том, что модернизация у нас всегда abortивная), а во второй – «Что делать?» (не вообще, но сегодня и завтра). Вопрос «Кто виноват?», собственно, и отсылает нас к вынесенному в заглавие круглого стола понятию традиции. Мне кажется, что разговор о традиции таит в себе несколько опасностей, если мы все-таки не прибегнем хоть к малейшей дифференциации. В разные периоды существования российского государства (а о модернизации можно говорить начиная с петровского царствования, то есть с XVIII века) имела место разная степень дифференцированности общества от государства. Соответственно, и разные модернизационные инициативы, разные модернизационные проекты (abortивные, как их назвал Лев Дмитриевич) приходились на периоды с разной степенью эмансипированности общества от государства. И оценивать их нужно, принимая во внимание этот фактор и, собственно, то, мог ли

тот или иной реформатор и та или иная элита, выбирая консервативный или абортивный путь развития модернизации, так сказать, мигрировать в общество и начать продвигать свои модернизационные инициативы со стороны общества.

Кроме того, очень важно принимать во внимание сам факт наличия/отсутствия общества: ведь оно начинает прорастать в России только с самого конца XVIII века, и о каких-то значимых «ростках» можно говорить только после первой трети XIX века. Следовательно, когда мы рассуждаем о правительственных модернизаторах, скажем, эпохи Александра I, которыми я занимаюсь, нужно понимать, что у них было еще мало альтернатив – в смысле «ухода». А, скажем, у модернизаторов эпохи Александра II – намного больше. Поэтому традиции, о которых мы говорим и к которым апеллируем как к значимым, прецедентным, – разные.

И кратко о том, что делать. Меня удивило, что, хотя здесь много было сказано о том, на каких ценностях должна «снизу» произрастать модернизация, ничего не говорилось о том, *кто* эти ценности будет транслировать, *каким образом*, через *какие каналы* и на *каком языке*. А это, на мой взгляд, ключевые, важнейшие вопросы. Кто будет субъектами трансляции – учителя, журналисты, представители НКО? В любом случае, это должны быть люди, которые умеют говорить понятно и в то же время непопулистски и к тому же апеллируя к личным интересам их аудитории, и поэтому третьей из упомянутых групп я бы доверяла больше всего. Где эти субъекты трансляции будут воспитываться? Как и чему их будут учить? Каналы трансляции – тоже вопрос неочевидный: мне кажется, что помимо школы и телевидения есть, может быть, и не такие мощные, но и не менее эффективные.

Возвращаясь к вопросу о наборе ценностей, на которых должна основываться модернизация, упомяну еще об одной, которую, по-моему, сегодня не называли, – об ответственности. Я совершенно уверена в том, что, если говорить о ней правильно, если показывать все преимущества, которые она может дать человеку, который ее интериоризирует, и все обязанности, которые она на него накладывает, именно эта ценность может и должна стать ключевой среди базовых ценностей модернизации. Без нее никакая модернизация невозможна. Но ответственность граждан двояким образом оборачивается для государства: с одной стороны, оно может укрепиться благодаря росту «ответственного» сознания (которое даст «прибавление» в разных сферах – от воспитания детей до уплаты налогов), а с другой, люди, чувствующие и сознающие ответственность за себя и своих близких, будут предъявлять совсем другие требования к своему государству. На мой взгляд, это очень хорошо.

Я думаю, что проблема трансляции ценностей должна стать темой для отдельного круглого стола, просто сейчас, в условиях цейтнота, когда осталось еще много выступающих, мне было важно обратить на нее ваше внимание.

Левинсон А.Г. Я хотел бы не скрывать от присутствующих глубокие сомнения по поводу самой постановки вопроса о модернизации. Хорошо бы отдать себе отчет, сколько еще человек (помимо тех, кто сидит в этом зале) видят модернизацию как общенациональную задачу, собираются ее решать и знают о средствах, которыми они будут это делать. По моему опыту таких людей очень мало, и это замкнутая социальная группа. Ее члены находятся в интенсивной коммуникации, но коммуникация вся происходит внутри этой группы.

Говоря то, что я говорю, я предполагаю, что основной реакцией на мои слова будет либо несогласие, либо, вероятнее, игнорирование. И это понятно, так как нам очень трудно видеть жизнь не через очки модернизации, думать о ней не в терминах модернизации. Поскольку это так, поскольку мы не в силах высказываться вне парадигмы модернизации, мы вынуждены говорить о модернизации неполной, абортивной, самоблокирующейся и пр. За этими словами, сделав особое усилие, можно увидеть попытку сказать, что никакой модернизации здесь нет. Но трудность мыслительной ситуации в том, что для нас произнести вслух «модернизации нет» означает сказать, что в этой стране вообще ничего нет (и не будет) и, главное, что нас самих тоже нет или не будет. Но кто же пойдет на такой ментальный суицид, упразднение самого себя. Поэтому, либо приукрашивая ситуацию, либо сурово ее критикуя, продолжают мыслить эту ситуацию как модернизационную.

Можно сделать несложный эксперимент. Модернизация – концепт, описывающий вполне конкретную социально-историческую ситуацию. У этой ситуации есть несколько ключевых признаков. Стоит взять нынешнюю Россию, проверить ее положение на соответствие этим признакам, чтобы убедиться, что такого соответствия нет. Естественно, большинство рассуждающих о российской модернизации это знают, точнее сказать, чувствуют, но по названным выше причинам ставить такой эксперимент не будут.

Модернизационная ситуация предполагает, извините за трюизм, прежде всего наличие модернизаторов, агентов модернизации. Сидящие здесь и их коллеги, единомышленники, ощущают себя именно в этом качестве. Поэтому для них вроде бы и получается несомненным наличие модернизационного про-

цесса. Раз мы есть, значит, модернизация идет. И они мне и возражат: как так – ее нет, коли мы есть?

Однако, в соответствии с теорией модернизации, модернизаторы – это группа, ставящая целью модернизацию своей страны и обладающая средствами для реализации этой цели. Группа же, к которой я обращаюсь и к которой считаю принадлежащим и себя самого, располагает только целями. И не располагает возможностями их достижения.

Почему не располагает – вопрос очень интересный, ключевой для понимания всей проблемы, но все же я об этом сейчас не буду говорить.

Посмотрим, какие в принципе бывают варианты.

Издредка случается модернизация «снизу». Какой-то массовый класс, например мелкая сельская буржуазия или средняя городская, преследуя свои собственные интересы, втаскивает страну в новое состояние, обновляет (модернизирует) строй жизни и систему отношений в обществе, меняет социальную, информационную и вещно-технологическую среду.

У России был такой шанс в начале XX века. В несколько приемов он был задушен. Были ожидания на появление подобного исторического окна в начале 1990-х, но и мимо этого окна мы проскочили.

Более частый вариант – модернизация «сверху». Как и все, что делается «сверху», это нам понятнее. Более того, нередко утверждается, что нашим вариантом модернизации была сталинская индустриализация, культурная революция, урбанизация (о коллективизации теперь такое стесняются говорить). Вопрос дискуссионный, поскольку результат оказался нестойким, страна опять стала отставать, несмотря на новые попытки рывков в послесталинскую эпоху. Поговаривают, что доста-

точно радикальный модернизаторский план был у Лаврентия Берии, который собирался его реализовать, возглавив страну после смерти Сталина. Но плану не дала сбыться группа вождей во главе с Хрущевым, именно в силу значительной радикальности замысла. Сама эта группа решила отделаться частичными мерами. Их недостаточный характер неоднократно отмечали и тогда, и потом.

Все же о тех временах можно рассуждать в терминах модернизационной теории. Ее уже упомянутое требование – необходимость, чтобы наличествовала элита модернизаторов и чтобы последняя располагала политическими и иными ресурсами для реализации своих намерений, – хоть в какой-то степени выполнялось.

Известны пожелания приписать модернизационный умысел Ю. Андропову. Мне его усилия кажутся связанными с модернизацией, но негативным образом. Во многом такими же, на мой взгляд, следует считать идеи ускорения и перестройки, с которыми выступила группа М. Горбачева и Е. Лигачева. Другое дело, что эти идеи оказались спусковым механизмом для процессов, о которых никто и не думал. В этом смысле можно полагать, что андроповские инициативы, если бы им было дано развиваться, также спровоцировали бы кризис и неизбежное обновление социальной сцены. (Обновление, которое может быть результатом, в том числе и бедствия, например войны, не надо путать с модернизацией как целенаправленным действием.)

На параллельных путях, по которым двигались сателлиты СССР, вполне классические модернизационные ситуации складывались не раз. Наиболее памятна Пражская весна 1968 года, хотя за предшествовавшие ей 15 лет такие ситуации завязывались в других странах Восточной Европы. Вот эти варианты

модернизации есть полный смысл называть абортивными. Абортмахер был всегда один и тот же, и его инструменты были всегда одни и те же: акции тайной полиции и армии; последняя или открывала огонь по жителям, или угрожала это сделать.

М. Горбачев в своих воспоминаниях говорил о своей идейной близости к зачинателям чехословацкой модернизации. Идея «рыночного социализма» (он же «социализм с человеческим лицом»), очевидно, уйдет в историю как одна из самых прекрасных и соблазнительных своей реализуемостью утопий. В этом ее отличие от успевших получить воплощение и показать свой нечеловеческий лик модернизационных программ научного социализма и национал-социализма. Так или иначе, в странах Восточной Европы этому гуманному варианту социалистической модернизации не дали развернуться советские танки. А в самом Советском Союзе этот вариант модернизации, вроде бы вставший в повестку дня в ходе политических процессов перестройки, никто не удосуживался запрещать или прекращать с помощью насилия. Хочу отметить, что на свой момент этот вариант развития социальной ситуации в стране имел, казалось бы, поддержку не только в узких элитарных кругах, но и в относительно широких субэлитных группах (т.н. либеральное крыло КПСС). Парадокс состоит в том, что реализоваться этому проекту не дали не «реакционеры», не те, кто командовал подавлением соответствующих попыток в Польше, Венгрии, Чехословакии. Не успев стать реформаторами социализма, эти элиты логикой процесса, который Ю. Левада предлагал называть «аваланшем», социальной лавиной, вынуждены были заняться срочным и полным сносом любого социализма, расчищать площадку для революционно-аварийно запускаемого капиталистического уклада.

Понятно желание охарактеризовать как модернизаторскую деятельность тех, кого некоторое время звали «реформаторами» и «демократами». У нее действительно есть ряд соответствующих признаков. Но есть и обстоятельства, мешающие согласиться с такой характеристикой. Главное из них следующее. Из людей, затевавших и осуществлявших обсуждаемые действия (реформы), не найдется тех, кто готов сказать, что все, что замышлялось, реализовано сполна. Можно найти тех, кто готов взять на себя ответственность за то, что получилось, но, главное, не найдется тех, кто скажет: то, что существует в России сегодня, и есть реализация существовавших тогда наших намерений. Речь не идет о том, что в существующей России все плохо. Речь о том, что и плохое, и хорошее здесь есть результат не модернизации, а других процессов.

От предыдущих эпох остались, так сказать, кадры модернизаторов. Не полностью исчезли сторонники рыночного социализма (или регулируемого рынка). Есть и носители идей, как построить здесь «хороший» капитализм. Возвращаясь к началу, повторю, что эти люди находятся в очень сложном положении моряков без моря.

Такова судьба модернизации «сверху». Ее, если подвести итог, мы так и не увидели. Остается третий вариант – не «снизу», не «сверху», а «сбоку». Речь идет о тех целенаправленных усилиях особых социальных агентов, которые приходят извне и приносят в нашу страну новые образцы социальных действий и деятельности с их новыми социальными продуктами.

Этот путь – один из весьма распространенных в мировой истории. Вокруг него, как вообще вокруг процесса модернизации, идут дискуссии и схватки, здесь конфликты оценок и интересов. Те, кто выступают как модернизаторы, а это, как пра-

вило, предприниматели или корпорации из более развитых стран, говорят о своей цивилизаторской миссии, о пользе для прогресса менее развитых стран, в которые они вносят свои производства с их прежде неизвестными здесь технологиями, системами отношений, знаниями и компетенциями. На принимающей стороне часть субъектов поддерживает этот дискурс. Но часть, и немалая, объявляет это колониализмом и становится на позиции, которые теперь зовут антиглобалистскими. Так или иначе, Россия в значительной мере меняет свой облик в результате именно таких процессов. Высшие руководители страны – те, от кого зависит, дать или не дать разрешение этим внешним агентам на приход в Россию, – могут утверждать, что генеральный замысел, план действий принадлежит им, а иностранцы лишь реализуют их предназначения. В этом смысле они могут претендовать на звание настоящих модернизаторов России. Их право претендовать, у каждого из нас право уважить или нет их запрос. Лично я полагаю, что их может сблизить с модернизаторами мечта видеть свою страну богатой, сильной, современной. Но, мне кажется, что в отличие от настоящих модернизаторов, они не составили план и не наметили конкретные цели и рубежи, на которые собираются с помощью иностранцев вывести страну. Они действовали и собираются действовать по обстоятельствам (что, может быть, и более удачная, но не модернизаторская стратегия). Да и «современность» как ценность стоит для них не на первых местах.

Вопрос о ценности «современности», «модерности», как выражаются некоторые специалисты, подводит нас к другой части дела. Если здесь не совершается модернизация, то что же здесь происходит? Ничего? Вовсе нет. Все эти годы, даже годы

так называемой стабильности, общество существовало в весьма активных повседневных действиях.

Как и в любом обществе, эта деятельность в основном заключалась в воспроизводстве собственного существования. Говорить об этом интересно лишь тогда, когда от общества или его части ожидается что-то иное. Действительно, модернизационная идеология исходит из того, что общество развивается векторно, целенаправленно. При этом цель ему поставлена модернизаторами. В советское время господствующей была идеология, связанная с модернизаторской. Представление жизни в виде движения к цели и было основным способом организации бытия.

В первые послесоветские годы была произведена смена целей. Вместо социализма – демократия и/или рынок. Это вызывало протесты, но не вызывало дезориентации. Затем в связи со сменой политической ситуации в элитах этот сигнал угас. Центр, верхи замолчали о направлении движения. Занятые задачами внутренней борьбы и самоспасения, они перестали размечать для публики общенациональное пространство-время. Значительное число людей оказалось дезориентировано тем, что существование утратило именно эти характеристики. Ощущение сиротства и заброшенности либо обманутости и тупика, в который завели, стало господствующим. Получила очень широкое хождение формула «мы не живем, а выживаем». В одной части случаев она указывала на поразившую людей бедность. Но в другой – она означала именно отсутствие вектора, обнаружение себя в пугающей ситуации, когда целью жизни становится сама жизнь. Добавим, что направление и цель всегда задавалась верхами. И когда они отказались от такой постановки, сыновне-патерналистскому сознанию был нанесен сильнейший удар. Хочу подчеркнуть, что не падение

жизненного уровня как таковое, но сочетанное с попаданием в незнакомую ситуацию экзистенциального вызова потрясло культуру повседневности. Опросы отмечали, в частности, подчеркнутый отказ людей обсуждать будущее – свое или своей страны. Наши специалисты назвали этот феномен «абортом будущего».

Из пережитого потрясения начала 90-х годов разные слои общества стали находить разные выходы. Упомянутое выше чувство «брошенности» и, резче, «кинутости» привело к отмеченному в середине 1990-х годов росту индивидуализма, ориентации на себя и собственные силы. Для старшего поколения это был, так сказать, вынужденный, реактивный индивидуализм, осознаваемый как недолжное собственное поведение в ответ на недолжное поведение «властей». Для младших возрастных групп, проходивших социализацию в это время, опора на себя была воспринята как норма. Первоначально индивидуализм имел ригористично-экстремальные формы – человек один и только один, у него никого нет, доверять никому нельзя. Пластическим выражением этого же стала монетизация жизни, культ денег, богатства как мерила индивидуальной силы и, соответственно, драматизация безденежья, бедности как метафоры социальной смерти. Деньги приобрели дополнительное значение человеческого капитала. Затем обсуждаемый реактивный индивидуализм принял своеобразные расширительные формы: человек никому не может доверять, только «своим». Только «свои» помогут и т.д. Это позволило развиваться широким неформальным сетям, связи стали восприниматься как важнейший социальный капитал, без которого индивидуальный денежный неэффективен и который последнему может при случае выступить заменой.

Специалисты отмечают, что сети – в отличие от организаций – строятся неориентированно, их пространство изотропно, а время в них – «стоячее» или циклическое. Давая своим участникам модель для представлений об обществе и мире, такие социальные «априорные категории» создают теперь у людей представление о стационарной, не ориентированной во времени действительности. Характерно, что «аборт будущего» превратился в склонность массового сознания связывать идеальные социальные представления исключительно с прошлым. Историческое стало формой мысленного представления и настоящего, и будущего. Комплексное прошлое, в котором Ледовое побоище / Сталинградская битва оказывается типовым эпизодом вековечной горячей/холодной войны, помогает строить концентрическую геополитическую картину пространства-времени. Извечно нас окружают враги, мы их извечно побеждаем, они нас окружают, мы их побеждаем и т.д.

Для повседневного обихода и приватной жизни разные группы населения формируют совсем иначе выстроенные картины. Они отнюдь не лишены временного измерения, но это индивидуальное векторное время личной карьеры, планирования покупок, обучения (ребенка) в школе, это циклическое микровремя от пенсии до пенсии, от посадки картофеля до урожая и пр. Через регулярно вещающие СМИ (радио и ТВ с их, соответственно, ежедневным и еженедельным циклом) это индивидуальное циклическое время символически агрегируется во всеобщее циклическое время. Оно никуда не течет, но оно пульсирует, тем самым давая всем участникам ощущение принадлежности к социальному целому. От модернизационно ориентированного развития или хотя бы псевдоразвития это состояние отличается очень значительно.

В отношении времени, как было замечено еще в 1990-е годы, население России четко делилось на тех, кому не хватает времени, и тех, кому не хватает денег. Это, как нетрудно угадать, есть деление на более старшую и более молодую часть населения с границей в окрестностях 40 лет. Это же – деление на сельское и городское население. Это деление на занятых преимущественно ручным, архаическим по технологиям, низкопродуктивным трудом и тех, кто использует услуги, такие как транспорт, информационные системы, современные финансовые институты и инструменты и т.п.

Сходные размежевания знакомы многим обществам, и разница между краями урбанизационной шкалы везде примерно одна и та же. Но спецификой нашего современного общества является пресловутая сырьевая ориентация экономики. Надо отметить, что когда Россия была экспортером сперва мехов и меда, потом зерна, она экспортировала продукты труда значительной, если не подавляющей части населения. Перераспределяемый далее прибавочный продукт создавали «все». Добыча углеводородного сырья (даже вместе с обслуживающими эту добычу отраслями) производится трудом относительно малой части работников. Они создают почти весь перераспределяемый далее в стране прибавочный продукт. И, как показал кризис, размер последнего связан не с особой продуктивностью их труда, а с рентообразующими обстоятельствами, мировой конъюнктурой.

Удел остальной части работоспособного населения – участвовать в деле перераспределения нефтяных доходов (возвращающихся – частично – в форме импортируемых продуктов и товаров) и их потребления в форме продуктов и услуг. С учетом коллапса советской индустрии как части ВПК, того, что

местному бизнесу пока невыгодно инвестировать в реальный сектор, и при относительно малой индустриализации «сбоку», за счет размещенных международными и иностранными инвесторами предприятий, основные рабочие места оказываются в этой сервисно-перераспределительной сфере. В этом смысле наша экономика – сервисная и постиндустриальная, с уточнением: вынужденно сервисная и вынужденно постиндустриальная. Развивающаяся в таких условиях национальная буржуазия, как показывают исследования, более всего ценит «стабильность». Она ее понимает как стабильность условий своего существования, пусть даже они включают рэкет и незаконные поборы чиновников. Крупная буржуазия покупает законодательную и политическую власть, мелкая – исполнительную и судебную. В обратной перспективе можно сказать, что различные властные структуры на всех этажах иерархии обеспечили себя каналами поступления ренты. Обслуживающая эту систему совокупность неформальных сетей оказывается более эффективным и гибким средством, нежели система формальных институтов, органов для согласования интересов. Такая комплексная буржуазно-бюрократическая социальная среда, разумеется, ориентирована на сохранение существующего положения. Она отторгнет или переварит самых рьяных модернизаторов, буде они попробуют ее пошевелить.

Следует помнить при этом про почти изолированный от каналов движения ренты аграрный сектор. В отдельных регионах, как правило, тех, где наиболее благоприятны природные и экономические условия, остались или возникли эффективные хозяйства с различными формами собственности и способами организации производства. Они – именно в силу своей эффективности – охватывают незначительное число работников и их

семей. Остальная часть села, с учетом резкой депопуляции, демографической деградации населения и сокращения обрабатываемого клина, живет в условиях парцеллярного нетоварного земледелия, домашнего скотоводства, с преобладанием ручного труда и архаических агротехнологий. Феномен заброшенности здесь проявляется сильнее, чем где-либо. Термины «выживание», «экономика выживания» здесь также релевантны в наибольшей степени.

Кажется необходимым напомнить о грандиозных по значению, но прошедших почти незаметно социальных трансформациях села. Стоившая обществу огромных жертв коллективизация сельского хозяйства без громких слов (и, слава богу, без крови) сошла на нет. Земля в той или иной степени принадлежит крестьянам. Казалось бы, впору говорить, что произошло возвращение к положению в русской деревне до коллективизации, однако это неверно. Неверно говорить и о сходстве с положением во множестве стран Африки, Латинской Америки, где основная или значительная часть населения живет в селе и где тоже преобладает нетоварная экономика, экономика выживания. Демографическая структура русского аграрного населения непохожа на обсуждаемые примеры. В русском селе в основном идет суженное воспроизводство населения; активные, трудоспособные жители покидают село либо навсегда, либо становясь «отходниками», зарабатывая на регулярных, но временных работах в индустриальных центрах. В обозримой перспективе в селе произойдет где полная депопуляция, где частичная или полная смена населения. Однако это произойдет стихийно, а не программно, т.е. не в модернизационных рамках.

Остается сказать, что страной, живущей в таком режиме, управляет политическая элита как совокупность руководителей

на каждом уровне иерархии. Она сумела обеспечить себе ренту, превышающую предпринимательский или криминальный доход. Иначе сказать, она обеспечила себе как корпорации господствующее положение по всем видам капитала – в плане власти, статуса и располагаемого дохода. Такая элита не является и не будет модернизаторской. Особо отметим, что в отличие от многих иных стран, нет готовой ее сменить альтернативной элиты, которая поставила бы задачи модернизации. Более того, нынешнюю элиту, которую можно назвать «стабилизаторской», теснит набирающая вес и кураж элита определенно антимодернизаторская, фундаменталистская. И судя по тому, что она занялась учебниками истории, она устраивается здесь надолго. Газо-нефтяной ренты на ее век хватит. У рассмотренных выше социальных групп такая элита найдет понимание. Сами группы пока (до кризиса) довольствовались тем, что имеют. Протестный потенциал пока низок, а рейтинги высоки. Если кризис не сместит основной каркас социальной ситуации, будут вроде бы все предпосылки не просто для стабильности, а для ультра-стабильности.

Впрочем, наблюдения над отечественной историей показывают, что разрывы и неожиданности в ней подчас приходятся как раз на такие времена, а в ролях реальных «обновленцев» (чтобы не говорить «модернизаторов») оказываются деятели с совсем иной репутацией.

Заключить хотелось бы тем, что картина такого общества выглядит безрадостной только при взгляде снаружи, взгляде, характерном для модернизаторов. Смотрящим изнутри и не сравнивающим свою жизнь с чужой, наша, по их словам, в последние годы все больше и больше нравится.

Рейтблат А.И. Несколько выступавших предавались воспоминаниям, я тоже вспомню начало перестройки, когда рядом с Медным всадником в Петербурге, в подвале здания бывшего сената появился магазинчик. Назывался он «Современный антиквариат». Как мне кажется, этот оксюморон передает характер модернизационных процессов в России.

Тут опять же некоторые выступавшие строили нечто вроде графика в воздухе с подъемами и спадами модернизационных процессов, так вот я думаю, что это внешнее выражение. В рамках любого модернизационного процесса идет постоянное противодействие. На год-два-три противодействующие силы могут примолкнуть, но они есть и будут постоянно и усиленно сопротивляться модернизации. Это, если хотите, характерная для российской модернизации черта.

В целом я бы солидаризировался и с общей картиной модернизации, как ее обрисовал Эмиль Абрамович Паин, и с теми прогнозами, которые давал Лев Дмитриевич Гудков. Хотел бы только обсудить некоторые частные моменты этих картин, представляющиеся мне проблемными или не совсем верными.

Кстати, сама сегодняшняя постановка вопроса получилась определенно оксюморонная. С одной стороны, в докладе было сказано, что у нас традиций нет, что они были подорваны, а с другой стороны, задается вопрос, какие же традиции мы могли бы использовать. Традиции все-таки есть (и тут Мария Майофис справедливо говорила), они постоянно возобновляются и переструктурируются. Это не нечто неизменное, что мы приняли и дальше несем. В этом плане, конечно, нужно говорить, что они меняются.

Не думаю, что вообще все было утрачено. Очень важный и слабо изученный момент – механизмы трансляции традиции.

Мне представляется, что и в советский период были некоторые механизмы такой трансляции. Сама советская власть при прокламируемой марксистской идеологии часть традиций в свою идеологию инкорпорировала. И уже через институты советской власти, советскую школу, советскую прессу эти традиции транслировались.

Скажем, литературная классика. При определенных ее модификациях что-то не допускалось. В какие-то периоды Достоевский не приветствовался, тем не менее основной корпус российской классики был доступен. Или общение в быту, на работе между членами коллектива. Те традиции, которые раньше сформировались, передавались.

К сожалению (это ответ на третий вопрос, поставленный организаторами круглого стола), насколько я понимаю, в основном это негативные традиции, то есть отсутствие мотивации к обогащению, уважения к частной собственности, правовой культуры, религиозной веры (она постоянно подрывалась еще в дореволюционный период), ответственности, собственного достоинства.

Поэтому если и были такие культурные традиции в российской истории, то я сомневаюсь, что они могут быть использованы для модернизации. Но это не значит, что вообще ничего модернизационного не было. И опять же тут было сказано, что модернизация здесь проводилась исключительно сверху. Я занимаюсь в основном отечественной культурой второй половины XIX – начала XX века. Мои знания говорят, что это так или не совсем так. Потому что, скажем, было создано в 60-е и начало разворачивать свою работу в 70-е годы земство. Да, конечно, был принят закон о земстве, но дальше оно стало работать в рамках этого закона самостоятельно. Земство облагало налогом жителей данной территории. Голосовали только люди, обладавшие определенным

имущественным цензом, то есть имевшие землю или собственность на этой территории. И эти люди дальше сами собирали деньги, сами их расходовали на хозяйственные нужды. Это не было по замыслу политической организации.

Мотивируя тем, что образование тоже нужно для нормальной хозяйственной деятельности, земство создало земские школы. Они не были государственными. Министерство просвещения их курировало, но они подчинялись земству и финансировались им. Несколько поколений крестьянских детей прошли через земскую школу, что поменяло их мотивацию.

Я читал воспоминания этих людей, и там такие характерные высказывания. Цитирую буквально: «Мне земская школа дала другие глаза». Они стали по-другому видеть мир, у них появились другие ценности. Это был медленный процесс. Десять, двадцать, тридцать лет, но в результате значительная часть сельской молодежи прошла через эту школу, и возникли уже другие традиции.

Земство даже на российском уровне не было централизованное, максимум оно было на уровне губернии. Потом земство стало и политическим истоком российского либерализма. Либеральная профессура – это земские деятели. В этом смысле, если бы государство сделало нечто аналогичное, возможно (это такая очень робкая надежда), это способствовало бы возникновению собственных мотиваций.

И последнее. Только Алексей Георгиевич Левинсон затронул этот вопрос. Здесь идет речь о модернизации, проводимой кем-то. Допустим, присутствующие здесь – ее субъекты. А подавляющая масса населения выступает в роли объекта, то есть не обладает правом на выбор собственного пути, не может решать свою судьбу.

Это не значит, что я говорю, что присутствующие здесь неправы. Я не знаю. Но воспроизводится та же патерналистская государственная модель. Сомневаюсь, что при таком населении, неспособном брать на себя ответственность за решение собственных проблем, возможна успешная модернизация.

Оболонский А.В. Отталкиваясь от заданных как тема дискуссии вопросов, хотел бы обратить внимание, что между первым и вторым вопросом, по-моему, существует некое имманентное противоречие. А именно: устойчивая особенность российской модернизации – это якобы модернизация сверху, связанная, как некоторые говорили, с таким распределением ролей: сакральная власть приказывает, а все остальные занимают позицию «чего изволите» и действуют соответственно. Но ведь, с другой стороны, российская культурная традиция включает исконное недоверие российского человека ко всему, что исходит от государства, неверие в него как потенциального носителя чего-то хорошего, как источник какого-то блага. Тому есть масса примеров. Здесь вспоминали известную четырехсловную фразу Ключевского: «Государство пухло, народ хирел». Но у него, кстати, есть по этому поводу и другая очень интересная фраза в связи с так называемой екатерининской Комиссией Уложения: «Главное, что нужно было преодолеть, – это закоренелое равнодушие и недоверие российского человека к власти, по опыту знающего, что ничего путного из правительственного призыва к общественному содействию, кроме новых тягот и бестолковых распоряжений, не выйдет». В этой связи можно и много другого вспомнить.

Поэтому о «сакрализации власти» в России можно говорить только с большими оговорками. На самом деле существует лишь имитационная сакрализация высшей персоны, не более того. Все

остальное – фикция. Известны связанные с этим очень четкие социологические данные. Если попытаться сформулировать отношение к власти через какую-то общую форму, то уместно вспомнить цитату из блаженного Августина. (Раньше мы все формулировали через марксизм, сейчас модно сослаться на святых отцов.) Так вот, Августин в «Исповеди» пишет о государстве так: «Без благоустроенного правосудия что есть государство, как не просто большая шайка разбойников? И что есть шайки разбойников как не государства в миниатюре?» К тому же мы знаем, что эффект тотальной советской пропаганды оказался дутым. После восьмидесяти лет тоталитарной пропаганды вдруг выяснилось, что никто не верит в то, что исходит из радиоприемника. Я имею в виду прежде всего перестроечное время и первые годы после него. К слову, с моей точки зрения, это в плане поведения людей это было самое достойное десятилетие в нашей истории XX века – период с 87-го по девяносто какой-то год.

А теперь я хотел бы отсюда, в отличие от большинства выступавших, выйти на некоторый позитив. Мне кажется, что недоверие к государству можно использовать как культурный, человеческий потенциал для позитивных модернизационных изменений, если мы признаем, что эта самая пресловутая сакрализация носит лишь имитационно-приспособительный характер.

Итак, именно через недоверие к государству можно выйти на позитивные перемены. Это первый момент. А что инициирует недоверие к государству? Обычно некие встряски, например военное поражение. Известно, каким модернизационным толчком послужила Крымская война. Конечно, поражение необязательно должно быть военным. Не приведи господь, как говорится. Но нынешняя ситуация кризиса в этом смысле, по-моему, тоже неплохой мотиватор и толчок для развития.

Теперь насчет того, что в обществе якобы не существует серьезной востребованности изменений. Мое субъективное ощущение, что мы недооцениваем потребность в изменениях. Человеческий потенциал для них существует. Первое, что мне сейчас пришло в этой связи в голову, это название работы И. Клямкина и Т. Кутковец «Нормальные люди в ненормальной стране».

И еще один позитивный фактор: наше общество обладает почти уникальным неоценимым опытом выживания в самых неблагоприятных условиях, причем именно в нишах, свободных от государства. Классический пример из советских времен – это приусадебные участки.

Реплика. Старообрядчество.

Оболонский А.В. Да, и старообрядчество.

Реплика. У нас 40% зарплаты – в неформальном секторе. Это официальные данные.

Оболонский А.В. Так это же и есть форма выживания. И, по-моему, источник надежды. И еще одну вещь я хотел бы сказать – относительно эксплуатации так называемой идеологии ментальности и якобы ее непреодолимости.

Любопытный момент. Эта идеология исходит, так сказать, с противоположных флангов. С одной стороны, она эксплуатируется, условно говоря, начальством с авторитарными целями. Дескать, народишко у нас такой нехороший, необузданный и если его распустить, дать волю, то все погубят и сожгут – и палатку, и магазин, и государство. Кстати, этот трюк хорошо в книжке Э. Паина «Распутица: полемические размышления о предопределенности пути России» описан. И это отнюдь не российское изобретение, все автократы его эксплуатируют.

Но, с другой стороны, – и это меня удивляет несколько больше – та же идеологема (а я ее все-таки называю мифологемой, хотя отнюдь не недооцениваю важность культурных и традиционалистских факторов) эксплуатируется, скажем так, агентами модернизации. Они тоже говорят: «Мы бы и хотели идти вперед, да, увы, не получится. Народ консервативный не позволит». Иными словами, эксплуатируется та же самая вещь. Сознательно или не сознательно, я не знаю. Но, по-моему, за этим стоит некая подсознательная психология ухода от ответственности, своего рода самооправдание: «Дескать, мы бы и хотели, но сами видите...»

Лично я не считаю, что блокирующее влияние культурных факторов так уж непреодолимо и фатально. (Хотя отнюдь не склонен недооценивать их роли. В свое время даже целую книжку написал о перекрестках русской истории. Об этом, кстати, есть некая полемика с Эмилем Абрамовичем Паином, но это в стороне от сегодняшней темы.)

В России всегда, даже в самые тяжелые времена, теплилась и выживала неистребимая контркультура. При этом, например, в Турции во времена Османской империи гораздо труднее вычленишь такую внятную контркультуру. А в России она была то сильнее, то слабее, но никогда не переводилась. А уж в современных условиях она тем более существует, и нам, по-моему, нет никакой необходимости ждать ни 500, ни даже 100 или 50 лет.

Фатальный пессимизм для меня, честно говоря, звучит как тезис о национальной неполноценности, как формула отчаявшегося англичанина у Лескова, который после ряда неудач с предложениями разных новшеств сказал: «Ничто хорошее вам не подходит». Я с этим не согласен.

И последнее. Вспомнил я одного американского студента, который приехал в поздний СССР с некими идеалистическими представлениями о России: начитался великой русской литературы, нравилась ему церковная архитектура, русские люди и так далее. Но, столкнувшись с разными государственно-полицейскими реальностями, он через пару недель пришел ко мне вот с такими глазами и говорит: «Слушайте, какое же у вас плохое, поганое государство!» И поясняет, имея в виду Америку: «У нас государство лучше людей, а у вас государство хуже людей». Я, помнится, ответил ему: «Давай переформулируем: у нас люди лучше государства». Вот на этом источнике умеренного исторического оптимизма я и закончу.

Кукулин И.В. В 1860 году поэт Николай Щербина, известный до тех пор в основном стилизациями на греческие темы, написал нашумевшую тогда эпиграмму:

*У нас чужая голова,
И убежденья сердца хрупки...
Мы – европейские слова
И азиатские поступки.*

Современники рукоплескали Щербине, а меня эта эпиграмма заставляет задуматься о сомнительности местоимения «мы», которое было характерно для тогдашнего интеллигентского сознания и во многом сохраняет свою силу сегодня. Мне бы хотелось поспорить с Александром Григорьевичем Асмоловым о его фразе «Мы – страна сбывшейся конфликтологии»: кто такие эти «мы», от лица которых можно сделать подобное признание? Посмотрите, в эпиграмме Щербины происходит своего рода расслоение повествователя: «Мы – европейские слова» говорит один субъект, «Мы – азиатские поступки» – другой, а «У нас чужая го-

лова» – третий. При этом «я», от лица которого написано это стихотворение, на деле не солидаризируется ни с одним из этих «мы»! Повествователь дистанцируется от всех остальных членов общества, составляющих «мы», и предостерегает их, но говорит словно бы от их лица. Хорошо бы нам, собравшимся здесь, в ловушку этого «мы» не попадать.

За этим столом собрались люди, занимающие очень разные позиции: от академических исследователей до политических экспертов, которые по роду службы дают советы decision-maker'ам. Обозначу позицию, с которой буду говорить я: это точка зрения академического исследователя, который обращается не к государственным структурам, а к представителям общества (поостерегусь говорить «гражданского»), которые готовы его слушать.

Как справедливо сказала Мария Львовна Майофис, в истории России не одна, а много традиций модернизации. Тем не менее, когда государство и общество сталкиваются с той или иной «точкой перехода», журналисты и эксперты сразу начинают вспоминать кошмары, ассоциирующиеся именно с сегодняшними тревогами, выставляющие именно их как «вечную» проблему России. Сегодня на ум приходят ужасы, связанные с зависимостью России от сырьевого экспорта или с централизованным перераспределением ресурсов. Если бы Россия находилась в состоянии кризиса другого типа, чем нынешний, эксперты вспомнили бы другие исторические катаклизмы, но все равно говорили бы, что у нас совершенно однородная «национальная традиция», и находили бы множество примеров, подтверждающих их мысли. Подобного рода «серии», которые как будто подтверждают наличие сквозной традиции, обладают способностью актуализироваться в проблемных ситуациях, подобно перинатальным матрицам Станислава Грофа.

Мне кажется, что один из конфликтов, который по разным причинам в разных ситуациях возникал в российской истории, – это конфликт между целями модернизации и нормами этики. Модернизация всегда должна решать конкретные этические задачи данного общества, предоставляя людям немного больше возможностей проявить сострадание, поддержку другого, великодушие, ответственность за себя и близких. Но всякий раз такого решения изначально нет, оно никогда не возникает автоматически. Это, конечно, довольно известные вещи, о которых много раз писали теоретики модернизации из разных стран, но в российском контексте они приобретают особый смысл.

Дело в том, что в России существует социально-политическая привычка, инерция модернизации, проводимой методами не просто авторитарными, но и демонстративно насильственными; авторитарный и насильственный – это вещи близкие, но все-таки не совпадающие. Политической мотивировкой реформ обычно оказывается «эффективность» или «конкурентоспособность» государства на мировой арене. Элиты чаще всего оценивают реформу как проблему в первую очередь технологическую. Даже в тех случаях, когда власти считают, что реформы все-таки решают этическую задачу, такая задача чаще всего не выносится в публичное пространство, не обсуждается и поэтому не «считывается» в обществе как составная часть реформ. Собственно, именно так и произошло в 1990-е годы.

Если же российские элиты начинают говорить об этических аспектах модернизации, получается еще хуже. Такие реформаторы обыкновенно исходят из предположения, что проводимая ими модернизация праведна по определению. Наиболее прямолинейный вариант подобной идеологии – большевизм.

Последствия социально-исторической привычки противопоставления «модернизации» и «этики» хорошо известны. Люди, которые могли бы стать сторонниками и общественным ресурсом для модернизационных реформ, из-за игнорирования этической составляющей не желают их поддерживать, занимают выжидательную или эскапистскую позицию. Среди интеллектуалов их может оказаться довольно много. Более того, сопротивление государственным усилиям по модернизации в России чаще всего разворачивается под этическими лозунгами: справедливости, защиты личности, свободы вероисповедания и так далее.

Конечно, консерваторы в Новое время *всегда* используют в своей риторике этические аргументы, но именно в России подобные аргументы оказываются наиболее убедительными. Примеров такой риторики можно привести много, начиная от ранних старообрядцев и кончая сегодняшним примером – леворадикальным протестным сайтом «Нет – реформам!» (www.reformam-net.narod.ru), где среди прочего сообщается о социально-политических неурядицах и нарушениях прав человека разного масштаба: от незаконной застройки Химкинского леса до многочисленных нарушений и подтасовок на недавних выборах (поддерживая опубликованные на этом сайте правозащитные выступления, я не согласен с «положительной программой» его авторов).

Проблема, стоящая за этим противостоянием, в истории России несколько раз разрешалась – это только сегодня нам кажется, что она неизбывна. Старообрядцы вначале декларировали жесткое сопротивление модернизации, но потом породили лучшую часть российского купечества. Именно трудовая и коммерческая этика купцов-старообрядцев давала надежду тем

людям в России начала XX века, кто рассчитывал на модернизацию, проводимую обществом, а не государством.

Однако, как говорил Бармалей из фильма «Айболит-66», «я не могу ждать, пока они вырастут». Есть ли возможность не ждать, пока пройдет сто лет и идеи наших с вами современников, протестующих против реформ под лозунгами, составленными из сталинистских лозунгов и правозащитных призывов, превратятся во что-нибудь более-менее осмысленное – например, социал-демократическое?

Я думаю, что ресурс для более быстрых изменений действительно есть. Скажу о том, что могут сделать академические исследователи и публичные интеллектуалы: актуализировать одну традицию, слабо, пунктирно проступающую в истории русской общественной мысли, – попытки проанализировать этические задачи российской модернизации. Можно говорить об этой традиции в публичных выступлениях, закрепить ее существование в образовательных программах. Выявление такой традиции, думаю, будет способствовать тому, чтобы российская модернизация не попадала в будущем в заколдованный круг бессмысленного противостояния «технократизма» и консервативного реванша под этическими лозунгами.

Я назову два сочинения. Это работа В.О. Ключевского «Добрые люди древней Руси». И второй текст, недооцененный – может быть, не такой уж новаторский с философской точки зрения, но очень важный с этической – книга Юрия Айхенвальда «Дон Кихот на русской почве»¹. Это две попытки описать роль этической модернизации в истории России.

¹ Юрий Айхенвальд (1928–1993) – поэт, переводчик, театровед, историк культуры, диссидент. Родился в Москве в 1928 году. Внук Юлия Айхенвальда, литературоведа и эссеиста, высланного из РСФСР в 1922 году на

Для меня важно осознать, что в истории России были прецеденты, когда модернизация осмыслялась как то, что позволяет построить более гармонические и более этически организованные отношения между людьми, но это понимается как *задача* модернизации, а не ее неизбежное последствие. К каким примерам мы можем обращаться? К законотворческой деятельности Сперанского. К публицистике времен Великих реформ 1860-х годов, в которой этические задачи отмены крепостного права, судебной реформы и т.п. анализировались довольно вьедливо². К опыту работы земств и ранних русских либералов начала XX века – тех людей, которые стояли у истоков Конституционно-демократической партии. Если говорить о недавней истории, то мне представляется недооцененной концепция «социальной демократии» А.Н. Яковлева (впрочем, в 2000-е он называл свою политическую

«философском пароходе», сын «красного профессора», расстрелянного в 1941 году. В 1949 году арестован, был в ссылке и в Ленинградской тюремной спецпсихбольнице. После реабилитации закончил педагогический институт, до 1968 года преподавал литературу в старших классах одной из московских школ. В 1968 году подписал коллективное письмо протеста против суда над А. Гинзбургом и Ю. Галансковым, за что был уволен из школы. В дальнейшем работал как литературный и театральный критик, много публиковался в «тамиздате». Двухтомная историко-философская работа «Дон Кихот на русской почве» (публикация в США – 1982–1984, в России – 1996) посвящена анализу, с одной стороны, роли бескорыстных, «донкихотских» поступков в истории российского общества Нового времени, с другой – осмысления созданного Сервантесом парадигматического образа Дон Кихота в русской культуре XVIII–XX веков. – *Прим. И. Кукулина.*

² В советской гуманитарной мысли обычно вычленялась только одна часть этой публицистики – революционная, что сильно обедняло сложность этических споров, которые тогда велись, и затрудняло понимание даже тех авторов, которые вроде бы были внесены в «советский пантеон», таких как П.Л. Лавров или П.Н. Ткачев. Если мы попробуем рассмотреть как единую систему пространство полемики А.И. Герцена, конституционалистов, Ф.М. Достоевского, архимандрита Феодора (Бухарева) и т.п., картина интеллектуальной жизни 1850–1860-х годов приобретет совершенно иной смысл. – *Прим. И. Кукулина.*

идеологию «социальным либерализмом»), при всей ее противоречивости и недостаточной отрефлексированности.

Что может стать результатом работы по выявлению этой, описываемой мной традиции? Вацлав Гавел в работах диссидентского периода использовал чрезвычайно важное понятие – «параллельный полис». Это группы людей, которые самоорганизуются независимо от государства или даже сопротивляясь государственному давлению. Именно их самоорганизация имеет значение этического и социального образца, который будет действовать в будущем. Представление о том, что модернизация обязательно должна решать этические задачи, неотделимо от представления о том, что главную роль в модернизации должно играть не государство, а инициативные общественные группы – тот самый параллельный полис. Говорить о его истории и будущих возможностях в России может стать задачей и академического исследователя, и публичного интеллектуала. Спасибо.

Блохин А.А. Проблема в том, что мы не определили, о какой собственно модернизации идет речь, что это такое.

Мы придумали себе какой-то лозунг модернизации. Мы считаем, что модернизацией для России является что-то важное. Каждый из здесь присутствующих по-разному ее понимает, не говоря уже о том, что в широкой аудитории спектр представлений еще более разнообразен.

Иногда люди с разными представлениями группируются в политические партии или движения, иногда просто высказывают свои позиции. Но и «силовики», и тихие алкоголики, и предприниматели, и олигархи, и даже бомжи – они ведь тоже все за модернизацию, они тоже считают, что в стране что-то должно быть лучше, чем сегодня. Им многое не нравится, и они имеют

на это право. Это все – наша страна, наши люди, со своими ценностями. И как только начинается модернизация в пользу одной группы населения, как бы она ни была современна и «хороша», эта группа населения восстанавливает против себя всех остальных. Не принимать их мнение во внимание нельзя.

Чаще всего мы говорим о модернизации по западному образцу, но все ли европейские ценности нам подходят? Все ли в американском образе жизни для нас приемлемо? Разве в Японии современное общество? Японцы гордятся своей страной, но у них очень традиционное, очень, я бы сказал, феодальное общество с точки зрения человеческих отношений. Конечно, Япония – правовое государство, экономически, технологически развитая страна. Но общество не модернизированное. А разве Китай идет по сценарию модернизации общества? Вовсе нет, или с гораздо меньшей скоростью и очень осторожно. Модернизация в экономике там идет быстрыми темпами – безусловно.

То же самое с вопросом о сырьевой ренте, преодолении так называемого «сырьевого проклятия». Мы часто выстраиваем простую логику: многие наши сегодняшние ошибки и диспропорции, низкая инновационная активность, сырьевая экономика, отсутствие развитых институтов рынка, слишком медленное становление гражданского общества predeterminedены доминированием рентных доходов от продажи нефти, газа, других сырьевых ресурсов. Но ведь похожая ситуация была в Англии во времена промышленной революции, которая происходила на фоне масштабного притока доходов от захваченных колоний, прежде всего Индии.

Значит, природная рента необязательно мешает модернизации? Может быть, в Англии играли роль другие факторы – концентрация населения, например. Есть версия, что в крупных

городах (не случайно в Европе в полисах возникало ремесло) плотность населения иногда играет гораздо большую роль, чем всякие общественные и религиозные конструкции. Люди просто начинают договариваться, потому что слишком тесно живут. Они начинают доверять друг другу, потому что исполняют свои обязательства.

Поэтому, выстраивая представление о желаемой модернизации, нужно очень критично подходить и к собственному, и к зарубежному опыту.

Современно ли общество? Это кто как считает. В 30-е годы многие – не только у нас, но и в Европе – считали социалистическое общество более современным. Не случайно все великие шпионы легко вербовались советской разведкой, они искренне верили, что способствуют прогрессу. Оказалось, что они ошибались, но это вопрос восприятия.

Здесь было сказано много слов, которые, на мой взгляд, были бы более уместны на политических диспутах, а не в экспертном обсуждении. Очень уютно считать, что государство что-то не так сделало, а народ «безмолвствует».

В этом есть определенное лукавство, потому что государство – это, как правило, «плоть от плоти» народа. Неправильно утверждать, что в 2000-х пришли «силовики» и что-то своевольно переделали. Они были поддержаны большинством населения страны. Неправильно считать, что в начале 90-х пришли реформаторы и что-то там «наломали». Они были поддержаны большинством населения страны. Приватизация по Чубайсу тоже была поддержана большинством. Любые реформы реализуются, если они поддерживаются большинством населения страны. Наоборот, слишком быстрая модернизация несет в себе риски реставрации.

В этой связи хотелось бы напомнить теорию моего научного руководителя Е.З. Майминаса о социально-экономическом генотипе. Ее суть в том, что несмотря на кризисы, подъемы, революции в обществе всегда сохраняются базовые приоритеты и ценности, которые восстанавливают общественное устройство даже после сильных потрясений. Нельзя слишком быстро модернизироваться не потому, что уроки свои нужно успевать «переваривать», а потому, что модернизированная культура страны вступает в противоречие с немодернизированной. Это очень большой риск, с этим нужно считаться и быть осторожными.

Из сказанного следуют три простых вывода: (а) модернизация может быть выстроена лишь как равнодействующая многих общественных сил, каждая из которых видит свои выигрыши или компенсации потерь; (б) представления о модернизации нашей страны, об образе идеального будущего пока очень смутные и строятся «от противного», однако именно то, что они есть и очень различны, уже позитивно – хуже было бы, если бы большинство социальных групп сегодняшнее положение устраивало, тогда мотора, потенциала в модернизации никакого не было бы; (в) конструктивные идеи модернизации если и высказываются, то пока не складываются в системное видение. И наша задача постараться хотя бы прорисовать его.

Уверен, что только на таком пути у нас могут быть более позитивные выводы и успехи. Ведь если мы объективно понимаем эволюцию разных социальных групп с разными интересами и ценностями, если мы начинаем изучать эти ценности, если мы видим, как ценности разных групп входят в конфликты друг с другом, мы можем прогнозировать и даже выстраивать модернизацию.

Я за то, чтобы аккуратно изучать систему ценностей, аккуратно заниматься образованием и воспитанием детей, потому что только на собственных и немножко чужих уроках можно понимать, что плохо и что хорошо. В этом смысле я согласен с Александром Асмоловым – надо начинать с образования. Нельзя навязать систему ценностей, можно только показать, что она лучше. Нужно способствовать развитию той культуры, которая лично нам кажется более современной, более прогрессивной, ну а дальше уж как получится.

Пестрякова С.А. В выступлении уважаемого Вадима Михайловича Межуева прозвучала крайне важная мысль о сложных нелинейных связях технологической модернизации с модернизацией в политической, социокультурной сферах. Очевидна справедливость «дилеммы трех часов» Ральфа Дарендорфа о различии в траекториях, результатах модернизации в разных областях социальной жизни, об отсутствии синхронности усилий в этой деятельности. Хотелось бы коснуться данной темы в ракурсе, не рассматривавшемся ранее в дискуссии.

В конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века группа независимых американских экспертов направила в администрацию президента США доклад о состоянии образования в стране. Отмечалось, что изменения в образовательных программах, смещение приоритетов в пользу ряда социальных и общественных дисциплин (прежде всего юриспруденции, менеджмента, финансов) в ущерб математике, естественным наукам могут нанести ущерб стране, ее конкурентоспособности. Подчеркивалось, что через 20–25 лет страна может стать *несовременной*. Причем дело не только в восприятии инноваций в технологической сфере. Речь шла о настроениях и образе мыс-

лей общества, подходах к решению различных, в том числе политических и социальных, проблем. По материалам доклада были сделаны выводы, принят ряд решений, корректирующих образовательные программы в пользу фундаментальной науки.

В эпоху информационной революции, ведущей к формированию «информационного общества», фундаментальная наука и ее творцы, акторы, безусловно, могут явиться серьезным ресурсом модернизации. К сожалению, в российских дискурсах – академическом, публично-политическом, массмедийном – эта проблема должным образом не артикулируется, дискурсы сегментированы. Бесспорно, что фрагментарность научно-технического развития нашей страны может иметь весьма драматические последствия в постиндустриальной стадии модернизации. С одной стороны, в советской модернизации культивировалась идея научно-технического прогресса. С другой – многие грандиозные научно-технические достижения не распространялись на самые широкие области жизни страны, на многие отрасли народного хозяйства, не были напрямую связаны с всесторонним ростом человеческого капитала. Тем не менее речь идет о драгоценном ресурсе, и ценность знания, престиж фундаментальной науки должны стать одним из ключевых вопросов повестки дня.

Вспоминают дискуссии 1938 года, когда академику Абраму Федоровичу Иоффе, директору Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ), вменялась в вину активная работа института в области ядерной физики. Говорили о том, что занятия ядром не согласуются со словом «технический» в названии ЛФТИ. Прошло несколько лет, ядерная физика стала проблемой № 1 государственного масштаба, и именно воспитанник ЛФТИ Игорь Васильевич Курчатов встал во главе важнейшего

дела и привлек к нему в первую очередь своих коллег по институту. Но даже в тех случаях, когда такой драматический поворот не происходит, ученые, занимающиеся фундаментальной наукой и проявившие себя на этом поприще, оказываются ценнейшими кадрами для решения самых разных сложнейших задач.

В 90-е годы научная общественность широко отмечала юбилей советского атомного проекта. Серия научных конференций и симпозиумов, публикация многотомного издания (многие материалы впервые были опубликованы в открытой печати) свидетельствуют об удивительной атмосфере в среде физиков, инженеров, участвовавших в этих работах. Речь ведь идет о 40-х годах – тоталитарный режим, жесткие управленческие подходы, – но, тем не менее, многие ученые (имена которых – наша национальная гордость и достояние) привносят методы и стиль работы фундаментальной науки, высочайшую квалификацию, научную независимость, антидогматизм, смелость, не только научную, но и гражданскую.

Многие соратники И.В. Курчатова в дальнейшем создали научные школы и направления, возглавили институты. В этих научных сообществах зачастую преобладала атмосфера, где было место инициативе, ответственности, умению «взять на себя», вольнолюбию. В аналогичном котле варились и многие математики, химики, биологи. Бесспорно, это ценные кирпичики ответственного, зрелого, рефлектирующего гражданского общества, потенциал, ресурс, способный инициировать модернизацию не только технологическую, но и в социокультурной сфере.

Вспомним «дилемму трех часов»: речь идет об инновациях, обновлении на уровне глубинных пластов жизни, отношений и ценностей. Но достичь этого возможно лишь при понимании и осмыслении обществом многомерности и нелинейности мира,

включая и социальные, и политические, и культурные процессы. Как не вспомнить время представлений, иллюзий и надежд конца 80-х – начала 90-х годов, что именно российская научная элита будет пионером модернизационных процессов в стране.

Академик Яков Борисович Зельдович, ученый поразительной научной проницательности, фантазии и интуиции и в то же время человек государственный, повторял неоднократно, что поиски простых ответов на сложные вопросы – дело крайне непродуктивное и опасное.

Возвращаясь к нашим «простым – сложным» вопросам – «Кто виноват?» и «Что делать?», – безусловно, необходимо прилагать колоссальные усилия для поднятия авторитета, актуализации ценности науки, знания. Речь идет не только о технологической составляющей, но и о духовности, уважении и восхищении самой фундаментальной наукой. Она нужна и потому, что удовлетворяет духовные потребности. Мир элементарных частиц и Вселенная как целое – это ведь восхитительные волнующие крайности, между которыми лежит все остальное.

Соглашусь, что данное рассуждение, может быть, и наивно, но, тем не менее, актуализация ценности знания способна наметить некий путь, пунктир к становлению современного типа личности, внедрению таких ценностных ориентаций, как независимость мышления, инновационность, достигательность, гражданственность, рациональность, авторитет разума и науки.

Восприятие ценности и красоты науки надо воспитывать. В сущности, в наших условиях для этого требуется мощная политическая воля, далее мобилизация таких институтов, как СМИ и система массовой коммуникации в целом, и, конечно, сфера образования всех уровней. Безусловно, взрастить «плоды просвещения» без нормальной институциональной среды невозможно.

Дубов Ю.Г. Дискуссия несколько раз касалась вопроса о возможном субъекте модернизации, но в общем-то вопрос этот обошла. Кто субъект модернизации? Кто в ней кровно заинтересован? Простые люди? Вы верите в инициативу снизу? Мне показалось, что выступающие считают это маловероятным. Мы сейчас проводим большое исследование. Хотим посмотреть, сколько в обществе людей по-настоящему активных, инициативных и как они распределяются. Смотрим мотив достижения и силу нервной системы. Исследование еще не завершено. Но вот что интересно. Я уже сейчас, просматривая анкеты, вижу, что люди, которые имеют самые высокие показатели силы нервной системы и мотива достижения, далеко не так ориентированы на изменения, как этого бы хотелось. Эти люди адаптировались, вписались, чего-то добились при существующей системе. И им важно не столько развитие, сколько стабильность. Заодно замечу, что они не особо нуждаются в свободе слова, независимости и всяких там демократических принципах. Главное для них – устойчивые, неизменные правила игры, для кого-то – ведения бизнеса, для кого-то – простого повседневного существования.

Я очень хорошо помню, сижу несколько лет назад в Нарьян-Маре, в аэропорту, рядом два дядьки, лет 35 каждому, крепкие такие ребята, одеты хорошо, в общем, кровь с молоком. По разговору – предприниматели. Один другому говорит: «Ты слышал, выборы губернаторов отменили?» А тот ему: «О, как здорово, а то мы такого понавывыбираем!» А ведь это наши коренники, персть земная. Дождешься от них модернизации? Я думаю, не дождешься.

Кто еще? Политические партии? Я полагаю, это можно не обсуждать.

Остается государство. Но даже если допустить – оставив за скобками вопрос о возможности серьезной модернизации экономики в не модернизирующейся культурной и политической среде, – что оно заинтересовано в модернизации, то ведь оно само без людей ничего не может. У России большой опыт модернизаций сверху. Начиная с Петра. Рывок – откат, рывок – откат. Шаг вперед, два шага назад. Настоящую устойчивую модернизацию могут обеспечить только люди, готовые постоянно идти вперед, что-то постоянно менять в своей жизни вообще, не только в экономике. Люди с инновационным мышлением и поведением. Люди свободные и независимые. Их должны быть миллионы. Я что-то таких миллионов вокруг не вижу. Значит, их надо растить. Кто их будет растить? Государство это, конечно, может. Да только зачем ему это? Трудно представить, что власть вдруг с какого-то перепугу начнет плодить независимых подданных. Легче горячий снег вообразить.

И это не чья-то злая воля, каких-то политиков, например. Мы имеем такое государство, которое абсолютно соответствует представлениям и стремлениям большинства граждан. Ведь есть специфика сознания, менталитета. Отрицать это, говорить, что нет особого пути, можно только в полемическом задоре, все равно эта специфика есть, и она так или иначе определяет и будет определять особый путь. И если десять поколений мамы говорят своим детям: «Сынок, ты, главное, не высовывайся, это опасно для жизни, не спорь с начальством, не лезь со своими идеями на рожон, себе же будет дороже», это вращается буквально в костный мозг, становится нормой поведения, нормой отношения к жизни. Думаю, что в нашей стране – это норма поведения большинства. Поэтому когда Андрей Блохин говорит, что наше государство – народное, я абсолютно с ним согласен. Что называется, плоть от

плоти. Нашел, как говорится, горшок свою крышечку. В 2000 году. И совершенно верно – какой народ, такое и государство. И ни тот, ни другой из двух названных субъектов не заинтересован в модернизации, на мой взгляд.

Паин Э.А. Я все время думаю, зачем мы затеваем подобные мероприятия (семинары и круглые столы)? Зачем отрываем умных, занятых людей на несколько часов? Можем ли мы договориться о чем-нибудь? Сомнения связаны уже со спецификой гуманитарного знания.

На чем мы основываем свое знание? В лучшем случае, на истории. А что такое история? У истории множество версий. Одни могут вспомнить историю побед, например, что Александр II все-таки отменил крепостное право, а Николай II ввел конституцию и парламент, другие могут вспомнить историю провалов. Тогда вспомнят, что после Александра II пришел Александр III и «подморозил Россию», а Николаевский парламент и конституция недолго просуществовали. Одни эксперты могут рассматривать циклический образ истории, другие – кумулятивный. Дальше – неполнота знаний. Японские социологи говорят, что произошли громадные, радикальные изменения в японском обществе, что их нынешняя коллективность ассоциативных индивидуалистов радикально непохожа на традиционную. Однако российский человек, который знает о Японии по телепередачам или газетам, может утверждать, что ничего в японской культуре не изменилось.

А сколько недоразумений таит в себе жанр кратких выступлений и реплик. Вот я, скажем, упомянул о разрушении национальных традиций, а кто-то мог решить, что я говорю о полном их уничтожении. Ну как человек в добром уме и здравой памяти

может сказать, что все традиции исчезли? Мы же, например, говорим на одном национальном языке, а это – культурная традиция. Разумеется, все этнические традиции не могут быть разрушены, пока существует некое этническое сообщество. Вместе с тем стоит различать традиции и квазитрадиции, «новodelь». Важно, понимать, что слабеют, а отчасти и вовсе разрушаются каналы трансляции традиционной информации. Может произойти и то, что говорил Бродель: изменение структуры быта. Она в России изменилась гигантски. Хотя бы десятилетия жизни в коммуналках уже изменили традиционную структуру русского быта, а следовательно, и национальную культуру.

Так, может, и не надо было затевать этот разговор? Я так не думаю. Дискуссия была полезной, несмотря на различие знаний, школ, научных дисциплин, политических и психологических позиций участников этого семинара. Несколько весьма важных идей были не только проанализированы, но и, на мой взгляд, приняты большинством аудитории. Например, поддержано то, что модернизация, хоть и не инициируется снизу, но для ее успеха должна быть подхвачена обществом, защищена им, она должна стать «своей», «нашей» для массового сознания. Если она воспринимается как чужая, навязанная, то быстро оборвется.

Большинство экспертов было согласно с тем, что в России существует комплекс культурных особенностей, и спор разгорелся лишь по поводу того, в какой мере они поддаются трансформации под воздействием просвещения, изменяющейся структуры и условий быта, внешних влияний и других факторов.

Очень важный вывод, который здесь прозвучал и, по крайней мере, не оспаривался, был связан с возможностью использования российских культурных особенностей в качестве конкурентных преимуществ нашей страны. Например, в таком

качестве рассматривались склонность к восприятию новаций, адаптивность к неблагоприятным условиям среды, стремление к защищенности в качестве основы восприятия ценности закона как универсальной формы защиты. Приводились и возможные направления опоры на эти особенности. Сама постановка этого вопроса кажется мне весьма продуктивной.

На нашем круглом столе я и В. Межуев (считающий себя моим оппонентом, а, на мой взгляд, он в большей мере единомышленник и, безусловно, один из моих любимых современных философов) говорили о том, что важна определенная последовательность модернизационных процессов. Наиболее эффективна такая последовательность, при которой изменения технологических укладов опираются на предшествующую эпоху просвещения и социально-культурных перемен, формирующих модерное общество и человека времен модерна. Мы много о чем могли бы договориться, если бы лучше слышали друг друга. Вообще, как говорится в одном рекламном ролике: «Нужно чаще встречаться», тогда договоримся.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ КЕННАНА

Институт Кеннана, созданный в 1974 году как подразделение Центра Вудро Вильсона и названный в честь Джорджа Кеннана-старшего, известного американского публициста и исследователя России XIX века, призван способствовать углублению знаний американцев о России, Украине и других постсоветских государствах, а также развитию науки в этих странах. Объединяя в своих стенах ученых, экспертов, политических и общественных деятелей, Институт содействует проведению высококачественных междисциплинарных исследований и дискуссий по широкому спектру социальных и гуманитарных наук, помогает продуктивному диалогу представителей мира науки и мира политики. Ежегодно организуется около 70 встреч, семинаров и конференций, публикуются отчеты о встречах, доклады ученых, специальные доклады и книги.

С 1993 года РОО «Содействие сотрудничеству Института Кеннана с учеными в области социальных и гуманитарных наук» проводит в различных регионах России семинары, конференции и круглые столы, посвященные актуальным вопросам политического, экономического и социокультурного развития страны. Главное направление научных интересов РОО «Кеннан» – особенности российской модернизации в сравнении с другими странами. В память о выдающемся ученом и политике Галине Старовойтовой, которая в 1989 году осуществляла свое исследование в Институте, ежегодно организуются Старовойтовские чтения по темам, связанным с защитой прав человека и урегулированием конфликтов. Результаты этой деятельности публикуются в виде книг, журнальных статей, а также на сайте www.kennan.ru.

О Джордже Фросте Кеннане

Джордж Фрост Кеннан (1904–2005) – выдающийся американский дипломат и ученый, основатель Института Кеннана, больше, чем кто-либо другой в XX веке, преуспел в деле сближения мира науки и мира политики.

Он историк, который сам творил историю. Как писал Генри Киссинджер, Кеннан – дипломат, внесший огромный вклад в создание дипломатической доктрины нашей эры.

В 1925 году, сразу после окончания Принстонского университета, Кеннан поступил на дипломатическую службу. После недолгого пребывания в Женеве он узнал о том, что может поучиться три года в аспирантуре одного из европейских университетов при условии, что будет изучать какой-нибудь редкий язык. Кеннан выбрал русский, поскольку у него была возможность получить назначение на работу в Советский Союз, а также следуя семейной традиции, начало которой положил двоюродный брат его деда, в память о котором он впоследствии поможет основать при Международном центре Вудро Вильсона Институт перспективных российских исследований имени Кеннана.

После завершения аспирантуры Дж. Ф. Кеннан продолжил дипломатическую службу за границей – в Таллине и Риге. Где бы он ни работал, он везде много путешествовал, что помогало ему лучше узнать народ и культуру страны. В 1933 году Кеннан приехал в Москву в качестве переводчика Уильяма Буллитта, первого посла США в Советском Союзе.

Затем была служба в Берлине, Вене, Праге, Лиссабоне и Лондоне. Но в центре внимания Кеннана по-прежнему оставалась Россия. Именно из Москвы он посылает «длинную теле-

грамму», в которой призывает правительство Соединенных Штатов твердо выступить против советской экспансии в Восточной Европе. Затем, в июле 1947 года, в журнале *Foreign Affairs* («Международные отношения») появилось эссе за подписью некоего «Х», в котором излагалась стратегия сдерживания, вскоре воплощенная в жизнь. Значение этой стратегии трудно переоценить: она оказала влияние на выработку американской доктрины на последующие 40 лет, обусловила политику других государств в отношении Америки и, наконец, легла в основу многих важных дипломатических и политических начинаний, таких как доктрина Трумэна, план Маршалла, НАТО и Берлинский воздушный мост.

В 1950 году Кеннан отошел от дипломатической работы из-за определенных расхождений во взглядах и подходах и принял приглашение Роберта Оппенгеймера посетить Институт перспективных исследований, который тот возглавлял. В последующие 20 лет Кеннан занимался и дипломатической, и научной деятельностью. Он был послом США в России (1952) и Югославии (1960–1963), читал лекции в Принстонском университете, приезжал в качестве профессора в Оксфордский университет по гранту имени Джорджа Истмэна, а с 1965 по 1969 год работал в Гарвардском университете. Однако настоящим домом для Кеннана оставался Институт перспективных исследований, где он имел возможность и время заниматься исторической наукой. Итогом его деятельности стала 21 книга (две из которых были удостоены Пулитцеровской премии и Национальной книжной премии), а также множество статей, проектов, критических работ, писем и речей. В 1974–1975 годах Дж. Ф. Кеннан, в тот период стипендиат Центра Вудро Вильсона, вместе с директором Центра Джеймсом Биллингто-

ном и историком Фредериком Старром основали Институт перспективных российских исследований имени Кеннана.

Со временем фигура Джорджа Фроста Кеннана приобрела еще большую масштабность. Встретившись с ним в 1987 году на саммите в Вашингтоне, Михаил Горбачев тепло его обнял и сказал: «Мистер Кеннан, наши люди верят, что можно быть другом другой страны и в то же время оставаться лояльным и преданным гражданином своей страны. Вы именно такой человек».

Признание пришло к Кеннану поздно, но оно было всеобъемлющим. Его кульминационным моментом стало награждение Кеннана Президентской медалью Свободы, которую в 1989 году ему вручил президент Джордж Буш.

АМЕРИКА И РУССКОЕ БУДУЩЕЕ

Джордж Ф. Кеннан (George F. Kennan)

Оригинал статьи опубликован в № 3 журнала *Foreign Affairs* за 1951 год.
(*Foreign Affairs*, v. 29, no. 3, April 1951, p. 351-370).

Текст дается в переводе профессора Гарвардского университета и редактора «Нового журнала» (1946–1959) М.М. Карповича, вышедшем в журнале «Новая и новейшая история» (№ 3, 2001).

Сила того негодования, с которым американцы отвергают воззрения и способы действий нынешних кремлевских правителей, уже сама по себе ясно указывает на их горячее желание видеть в России появление других воззрений и другого порядка, резко отличного от того, с чем нам приходится иметь дело в настоящее время. Позволительно, однако, задать вопрос: есть ли в наших умах отчетливое представление о том, в какие формы должно вылиться это новое русское мировоззрение, каким должен быть новый русский порядок и как мы, американцы, можем содействовать их установлению. Теперь, когда одновременное существование двух систем на нашей планете привело к такому непомерному напряжению и тревоге во всем мире и когда уже теряется надежда на то, что эти две системы могут сосуществовать, – у многих появляется склонность считать, что главным вопросом является вопрос о победе или поражении в будущей войне; для них этот вопрос затмевает вопрос об образе будущей, более приемлемой России, а иногда с ним даже сливается. Некоторые американцы, при одной лишь мысли о возможности войны, возвращаются к своей дурной привычке – считать, что война повлечет за собою какое-то окончательное, и притом положительное, решение всех вопросов, что война явится завершением – и счастливым завершением – чего-то, а не началом чего-то нового.

Такой взгляд сам по себе является, конечно, величайшим заблуждением, даже если оставить в стороне мысль о связанных с войной кровопролитии и жертвах. Война с советской державой, даже если бы она увенчалась относительным успехом (а нам не следует забывать, что такая война может принести только относительный успех), – сама по себе ничего не дала бы, или дала бы весьма мало, в смысле достижения тех перемен в России, которые нам желательны; война только ближе столкнула бы нас с различными сторонами проблемы, которая уже существует и с которой все равно должен считаться каждый американец, отвергающий советский способ действий – независимо от того, произойдет война или нет. Проблема эта заключается в следующем: что должна представлять собою та Россия, которую мы предпочли бы видеть; с которой, говоря попросту, нам было бы легче жить; существование которой позволило бы установить в мире более устойчивый международный порядок; которая одновременно была бы желательной для нас и реально осуществимой?

Проблема возможности иной, более приемлемой России, в сущности, не связана с вопросом войны и мира. Война сама по себе не вызовет к жизни такой России. Наоборот, война вряд ли может дать что-либо положительное в этом смысле, если она не будет сопровождаться хорошо продуманными и энергичными усилиями, помимо военных мероприятий. С другой стороны, продолжение существующего положения без большой войны не исключает возможности возникновения иной, новой России. Все зависит от множества другого рода условий, которые должны быть созданы множеством людей, – будь то во время войны или во время мира. Не все эти условия могут быть созданы американцами. В смысле непосредственных действий американцы могут сделать очень мало. Но мы располага-

ем значительными возможностями для того, чтобы повлиять на исход событий; мы не должны забывать, что может наступить время, когда наши усилия могут изменить ход событий в ту или иную сторону. Вот почему вопрос о нашем отношении к русскому будущему заслуживает самого пристального и вдумчивого внимания. В нашем стремлении определить это будущее мы должны учитывать два фактора, имеющих особое значение: 1) мы должны знать, чего мы хотим, и 2) мы должны дать себе отчет в том, как нам следует действовать для того, чтобы облегчить, а не затруднить воплощение в жизнь наших стремлений. Слово облегчить применено здесь сознательно: мы имеем дело лишь с иностранным государством, и наша роль может быть лишь ограниченной, подсобной по сравнению с более важной ролью, которую должны в этом деле играть другие.

Что же должна представлять собою Россия, которая была бы приемлема для нас как член мирового коллектива?

Быть может, прежде всего следует выяснить, о какой России было бы напрасно мечтать. Таковую Россию – Россию, на появление которой мы не должны рассчитывать, нам легко себе представить, а именно: капиталистическое, либерально-демократическое государство, сходное по строю с нашей республикой.

Если мы рассмотрим, в первую очередь, вопрос экономического устройства, то мы увидим прежде всего, что Россия едва ли была знакома с частной инициативой, в том ее виде, к которому мы привыкли в Америке. Даже в дореволюционные времена русское правительство всегда держало в своих руках целый ряд экономических отраслей, в частности, транспорт и военную промышленность, которые в Соединенных Штатах неизменно, или во всяком случае как правило, находились в частных руках. В более раннюю эпоху русской истории были, правда, именитые се-

мы русских предпринимателей, прославившиеся размахом своего торгового пионерства в мало развитых районах русского царства. Но, в общем, частный русский капитал играл более важную роль в области товарообмена, чем в области промышленного производства. Русские предприниматели создавали главным образом торговлю, а не промышленность. К тому же торгово-промышленная деятельность не считалась в России таким почетным занятием, как на Западе. Существовало традиционное, коренное русское, купеческое сословие, но оно не отличалось ни широтой кругозора, ни сознанием своей социальной роли и потому не вызывало к себе особого уважения. Портреты купечества в русской литературе обычно отрицательные и производят удручающее впечатление. Представители помещичьего дворянства, вкусы и предрассудки которых оказывали решительное влияние на нравы русского общества, по большей части смотрели на торгово-промышленную деятельность свысока и старались держаться в стороне от нее. В русском языке не было слова, соответствующего нашему понятию *businessman*; в нем было только слово *купец*, и этот термин далеко не всегда имел лестное значение.

Даже в самый разгар той индустриализации России, которая с неожиданной энергией стала развиваться в конце прошлого столетия, все еще были ясны, с одной стороны, отсутствие необходимой традиции ответственности и сдерживающих начал у капиталистов и, с другой стороны, общая неподготовленность правительственных органов и широкой общественности к тому, чтобы справиться с возникшими новыми проблемами. Это промышленное развитие опиралось скорее на индивидуальные начинания, чем на широкое распределение собственности на акционерных началах. Характерной чертой этого развития было быстрое скопление денежных средств в ру-

ках отдельных лиц и семейств, которые далеко не всегда знали, что им делать со своим богатством. Со стороны способ расходования этих богатств зачастую казался столь же сомнительным, как и пути, которыми они приобретались. Отдельные капиталисты жили в непосредственной близости от своих рабочих, а многие из владельцев фабрик и заводов жили даже прямо на заводских участках. Это походило скорее на картину, типичную для ранней промышленной революции, как она была изображена Марксом, чем на современные условия жизни в передовых западных странах. Возможно, что этим отчасти и объясняется успех марксизма в России. Русский промышленник стоял на виду у всех, во плоти, и часто напоминал своей тучностью, а иногда (не всегда, конечно) и своей грубой вульгарностью, капиталиста, изображаемого карикатуристами эпохи раннего коммунизма.

Все это свидетельствует о том, что в глазах народа частная инициатива в царской России не успела еще приобрести и малую долю того престижа и значения, которыми она пользовалась к началу нашего столетия в странах с более старой коммерческой культурой. Быть может, с течением времени частная инициатива в России и приобрела бы такое значение и престиж. Шансы на это все время росли. В дореволюционной России можно было найти немало примеров эффективного и прогрессивного руководства промышленными предприятиями, и такие примеры все умножались.

Но нельзя забывать, что все это было очень давно. Со времени революции прошло тридцать три года. За эти годы, в тяжелых условиях советской жизни, отжило целое поколение. Из лиц, способных повлиять на ход событий в России, только незначительное меньшинство вообще еще помнит дореволюционные времена. Младшее поколение не имеет никакого понятия

ни о чем, кроме государственного капитализма, насильственно созданного советским режимом. Здесь же мы рассуждаем о чем-то, относящемся даже не к неопределенному будущему.

Учитывая все это, мы должны признать, что русское национальное самосознание не подготовлено к установлению в России – особенно в ближайшем будущем – ничего подобного системе частной инициативы, в том виде, в каком знаем ее мы, американцы. Это не исключает возможности развития русской частной инициативы в будущем, при благоприятном стечении обстоятельств. Но она никогда не уложится в систему, тождественную нашей. И никому не удастся форсировать темп ее развития особенно извне.

Правда, слово социализм столько лет тесно связывалось со словом советский, что оно стало глубоко ненавистным многим людям в пределах и за пределами Советского Союза. Но из этого легко сделать ложные выводы. Можно допустить, что розничная торговля и другие формы обслуживания каждодневных индивидуальных потребностей когда-нибудь, в значительной своей доле, вернуться в России в частные руки. В сельском хозяйстве, как мы сейчас увидим, несомненно произойдет широкий переход к частной собственности и к частной инициативе. Возможно также, что система кооперативного производства так называемых артелей – система, корни которой глубоко уходят в русскую традицию и русское сознание – может когда-нибудь привести к экономическим отношениям, представляющим собой существенный и положительный сдвиг в подходе к современным проблемам труда и капитала. Но значительные секторы экономической жизни, которые мы привыкли относить к сфере частной инициативы, почти наверное останутся в России в ведении государства, независимо от облика будущего политического строя. Это не должно амери-

канцев ни удивлять, ни пугать. Нет никаких оснований для того, чтобы формы экономической жизни России, за некоторыми исключениями (они будут указаны ниже), могли считаться жизненно важным вопросом для внешнего мира.

Сельское хозяйство заслуживает особого места в наших размышлениях на эту тему. Сельское хозяйство – ахиллесова пята советского строя. Оставленное в частных руках, оно являлось бы уступкой человеческой свободе и личной инициативе, – уступкой, которую всякий настоящий большевик считает недопустимой. В условиях насильственной коллективизации он требует сложного аппарата для обуздания крестьянства, чтобы прикрепить его к земле и заставить на этой земле работать. Насильственная коллективизация крестьянского населения по всей вероятности является в настоящее время самой серьезной причиной недовольства в Советском Союзе, за исключением разве лишь жестоких полицейских методов, с которыми коллективизация тесно связана. Можно с уверенностью полагать, что одним из первых актов будущего прогрессивного правительства России будет отмена ненавистной системы сельскохозяйственного рабства и восстановление у крестьян того чувства личного удовлетворения и той инициативы, которые связаны с частным землевладением и со свободой распоряжения сельскохозяйственными продуктами. Коллективные хозяйства, возможно, будут продолжать существовать, ибо самой ненавистной чертой теперешней системы является не сама идея производительных кооперативов, а тот элемент принуждения, который лежит в ее основе. Коллективы будущего, однако, будут добровольными кооперативами, а не союзами, созданными из-под палки.

Обращаясь к политической стороне дела, мы, как уже было указано выше, не можем ожидать появления либерально-

демократической России, созданной по американскому образцу. Это необходимо подчеркнуть со всей силой. Это не значит, конечно, что будущий русский режим обязательно будет антилиберальным. Нет более прекрасной либеральной традиции, чем та, которая была в русском прошлом. Да и в наши дни многие русские люди и русские общественные группы глубоко проникнуты этой традицией и готовы сделать все, что в их силах, для того, чтобы она стала господствующей в новой России. Мы только можем от всей души пожелать им успеха. Но мы не окажем им услуги, если будем ожидать от них слишком быстрых и слишком больших успехов или же если будем надеяться, что они создадут строй, подобный нашему. Русским либералам предстоит трудный путь. Они найдут в своей стране молодое поколение, которое не знает иной власти, кроме советской, и которое подсознательно приучено мыслить в терминах этой власти, даже когда оно питает к ней вражду и ненависть.

Многие характерные черты советской системы переживут советскую власть, хотя бы уже потому, что все другое, что можно было бы ей противопоставить, было уничтожено. Некоторые же черты советской системы заслуживают того, чтобы они пережили ее, ибо ни одна система, просуществовавшая десятилетия, не может быть лишена отдельных положительных черт. Программа всякого правительства будущей России должна будет учесть тот факт, что в русской жизни был советский период и что этот период оставил – вместе с отрицательным – и свой положительный отпечаток. Плохую помощь окажут членам правительства будущей России те западные доктринеры и нетерпеливые доброжелатели, которые будут ожидать, что они создадут в кратчайший срок точную копию демократической мечты Запада – только потому, что эти русские люди будут за-

няты поисками нового строя, способного заменить тот, который мы теперь называем большевизмом.

Вот почему нам, американцам, в особенности следует сдерживать, а если возможно, то раз и навсегда уничтожить укоренившуюся среди нас склонность судить о других народах в зависимости от того, в какой степени они похожи на нас самих. В наших отношениях с русским народом для нас теперь более чем когда-либо важно помнить, что наш строй может представляться неподходящим для людей, живущих в иной атмосфере и иных условиях, и что возможно существование социального и государственного строя, не заслуживающего осуждения, хотя бы он и ни в чем не был сходен со строем американским. Сознание такой возможности несколько не должно нас смущать. В 1831 г. де Токвиль, писавший из Соединенных Штатов, правильно заметил: *Чем больше я знакомлюсь с этой страной, тем больше я проникнусь сознанием истины, что нет ничего абсолютного в теоретической оценке политических учреждений, и что их эффективность зависит почти всегда от исторических условий, в которых они возникли, и от той социальной среды, в которой они действуют.*

Формы правления выковываются преимущественно в горниле практики, а не в безвоздушном пространстве теории. Они соответствуют национальному характеру и национальной действительности. В национальном характере русского народа есть много положительных черт, а настоящее положение в России настоятельно требует создания новой формы правления, которая позволила бы этим положительным чертам проявиться. Будем надеяться, что такая перемена осуществится. Но когда советская власть придет к своему концу, или когда ее дух и ее руководители начнут меняться (ибо и тот и другой конечный

исход возможен) – не будем с нервным нетерпением следить за работой людей, пришедших ей на смену, и ежедневно прикладывать лакмусовую бумажку к их политической физиономии, определяя, насколько они отвечают нашему представлению о демократах. Дайте им время; дайте им возможность быть русскими; дайте им возможность разрешить их внутренние проблемы по-своему.

Пути, которыми народы достигают достойного и просвещенного государственного строя, представляют собою глубочайшие и интимнейшие процессы национальной жизни. Иностранцам эти пути часто непонятны, и иностранное вмешательство в эти процессы не может принести ничего, кроме вреда. Как мы увидим в дальнейшем, в некоторых отношениях вопрос о характере будущего русского государства действительно затрагивает интересы остального мира. Но это не касается формы правления – если только она не переступает определенных, четко установленных границ, за которыми начинается тоталитаризм.

В каких же отношениях вопрос о характере будущего русского государства затрагивает наши интересы? Какой России можем мы разумно и законно желать? Какие черты мы, как ответственные граждане мирового коллектива, имеем право искать в облике любого иностранного государства, и в частности, в облике России?

Мы вправе, **в первую очередь**, ожидать появления такого русского правительства, которое, в отличие от теперешнего, было бы терпимым, открытым и прямым в своих отношениях с другими государствами и народами. В его идеологии не должно быть места убеждению, что собственные его цели не могут быть успешно достигнуты, пока все государственные системы, не находящиеся под его контролем, не будут подорваны и в ко-

нечном счете уничтожены. Оно должно избавиться от мании преследования и обрести способность видеть внешний мир, включая и нас, таким, каков он есть на самом деле: не абсолютно плохим и не абсолютно хорошим; не всецело заслуживающим доверия, но и не всецело его незаслуживающим (хотя бы по той простой причине, что доверие имеет в международных делах лишь относительное значение). Оно должно понять, что на самом деле внешний мир не поглощен дьявольским замыслом о вторжении в Россию и нанесении удара русскому народу. Видя внешний мир в таком свете, государственные деятели будущей России смогли бы подойти к нему с уступчивостью и здоровым чувством доброжелательности, защищая свои национальные интересы, как подобает государственным деятелям, но не исходя из предположения, что эти интересы можно отстоять только за счет интересов других стран и что другие страны должны делать то же самое.

Никто не требует наивного и детского доверия; никто не требует беспричинного энтузиазма по отношению ко всему иностранному; никто не требует, чтобы игнорировались реальные и законные расхождения интересов, которые всегда налагают и будут налагать свою печать на международные отношения. Мы должны не только считаться с тем, что русские национальные интересы не перестанут существовать, но и с тем, что они будут энергично и уверенно отстаиваться. Но при режиме, который по нашему признанию будет заметным улучшением по сравнению с теперешним режимом, мы будем вправе ожидать, что это будет происходить в атмосфере душевного равновесия и сдержанности:

- на иностранного представителя не будут смотреть, как на человека, одержимого дьяволом, и не будут с ним обращаться как с таковым;

- будет признано естественным самое невинное и законное любопытство по отношению к иностранному государству, и что удовлетворение такого любопытства может быть дозволено без роковых последствий для национальных интересов этого государства;

- будет признано, что отдельные иностранные круги могут иметь определенные деловые интересы, которые не преследуют цели разрушения русского государства; и наконец,

- будет допущено, что лица, желающие путешествовать за границей, могут руководиться иными мотивами, кроме шпионажа, саботажа и подрывной деятельности, – в том числе, такими простыми мотивами, как, например, любовь к путешествиям или необъяснимое желание время от времени навещать своих родственников.

Короче говоря, мы можем требовать, чтобы нелепая система анахронизмов, известная под названием железного занавеса, была упразднена, и чтобы к русскому народу, который, будучи зрелым членом мирового коллектива, мог бы так много дать и так много получить взамен, перестала применяться оскорбительная политика, третирующая его как незрелого и несамостоятельного ребенка, которому нельзя позволить общаться с миром взрослых и которого нельзя без надзора выпускать из дому.

Во-вторых, признавая, что форма правления является внутренним делом России и допуская, что она может резко отличаться от нашей, мы одновременно имеем право ожидать, чтобы выполнение функций государственной власти не переходило ясно начертанной границы, за которой начинается тоталитаризм. В частности, мы имеем право рассчитывать, что любой режим, который будет претендовать на преимущество перед теперешним режимом, воздержится от применения рабского тру-

да, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Такое требование имеет свое основание: основание еще более веское, чем то моральное потрясение, которое мы испытывали при виде отталкивающих подробностей этого рода угнетения.

Когда режим становится на путь порабощения своих собственных трудящихся, он вынужден поддерживать такой огромный аппарат принуждения, что появление железного занавеса следует почти автоматически. Никакая правящая группа не захочет признаться в том, что она может править своим народом, только обращаясь с ним, как с преступниками. Отсюда возникает тенденция оправдывать политику угнетения внутри страны ссылками на опасности, грозящие ей со стороны порочного внешнего мира. При таких условиях внешний мир должен изображаться как в высшей мере порочный – вплоть до карикатурных пределов. Меньше сильные средства здесь помочь не могут. Тщательно скрывая действительность за железным занавесом, режим представляет за границу своему народу в самом мрачном виде; так озабоченные матери пытаются запугать своих детей и укрепить свой собственный авторитет, устрашая их зловещей неведомой силой, которая схватит их, если они не будут осторожными.

Таким образом, эксцессы внутренней власти неизбежно ведут к антисоциальному и агрессивному образу действий на международной арене и становятся поводом для тревоги со стороны международного коллектива. Миру не только безмерно надоела эта комедия с ее бесконечной и утомительной ложью. На горьком опыте он еще убедился и в том, что когда эта комедия затягивается на продолжительный срок, то, в силу своей опасной безответственности, она становится серьезной угрозой международному миру и мировой устойчивости. Именно по этой причине – хотя и отдавая себе отчет в том, что

все различия между свободой и властью относительно, и признавая, что 90% этих различий нас не касаются, поскольку дело идет об иностранном государстве, – мы все же настаиваем, что есть такая запретная зона, в которую ни одно правительство великой страны не может вступить, не создавая при этом самых прискорбных и серьезных последствий для своих соседей. Это та самая зона, в которой режим Гитлера чувствовал себя как дома и в которой советское правительство подвизалось по крайней мере в течение последних 15-ти лет. Заявим без обвиняков, что мы не сможем признать никакой будущей русский режим и не сможем находиться с ним в нормальных отношениях, если он не останется за пределами этой запретной зоны.

В-третьих, мы можем надеяться, что новая Россия не станет надевать тягостного ярма на другие народы, обладающие стремлением и способностью к национальному самоопределению. Здесь мы касаемся деликатного вопроса. Более трудного и более скользкого вопроса не найти во всем политическом словаре. Думая о взаимоотношениях между великорусским народом и соседними с ним народами, живущими за пределами бывшей царской империи, а также нерусскими национальными группами, в свое время включенными в состав этой империи, нельзя представить себе такую схему разрешения вопроса о границах или государственного устройства, которая, при преобладающих сейчас понятиях, не вызвала бы взрыва недовольства во многих кругах и не была бы часто действительно несправедливой.

Покуда население этой части света не изменит своего отношения к вопросам о границах и о национальных меньшинствах, американцам не следует брать на себя ответственность за определенные взгляды и определенную позицию в этом вопросе; ибо любое конкретное решение может в какой-нибудь мо-

мент стать поводом к горьким упрекам по их адресу, и американцы будут вовлечены в споры, не имеющие никакого отношения к делу человеческой свободы.

Очевидной необходимостью и единственным решением, заслуживающим поддержки со стороны американцев, является пробуждение среди непосредственно заинтересованных народов всей этой беспокойной области нового духа, который внес бы в вопросы о границах и о государственном устройстве новое содержание и значительно уменьшил бы их значение. Проснется ли такой дух в этих народах – предугадать невозможно. И именно поэтому американцам следует быть особенно осторожными в поддержке или в поощрении какого-либо конкретного плана в этой области; ибо мы не можем оценить значение той или иной программы прежде чем не выявится дух, в каком она будет осуществляться. Как можем мы судить, потребуется ли для данной национальной группы государственная независимость, положение федеральной республики, особая форма местного самоуправления, или вообще не потребуется никакого особого статуса, прежде чем мы ознакомимся с психологической атмосферой, в которой то или иное устройство будет действовать?

По соседству с великорусским народом живут народы нерусского происхождения, экономическая жизнь которых тесно связана с экономической жизнью великороссов. Желательно наименьшее ослабление этих экономических связей в будущем, а это уже само по себе обычно требует тесной политической связи. Но характер этой связи будет зависеть от настроений по обе стороны демаркационной линии: от степени терпимости и понимания, на которую окажутся способны все эти народы (а не только один русский народ) при установлении новых взаимоотношений.

Мы, например, все согласны, что балтийские страны никогда более не должны находиться в вынужденной экономической зависимости от русского государства, ибо это идет вразрез с сокровенными чаяниями населяющих их народов; но в то же самое время для этих народов было бы безрассудным отказаться от тесного сотрудничества с проникнутой духом терпимости неимпериалистической Россией, которая искренно стремилась бы рассеять воспоминания о печальном прошлом и построить свои отношения с балтийскими народами на почве подлинного и бескорыстного уважения их прав.

Украина несомненно заслуживает полного признания самобытного гения и способностей ее народа, равно как ее нужд и возможностей в области развития собственного языка и собственной культуры; но в экономическом отношении Украина в такой же мере составная часть России, как Пенсильвания составная часть Соединенных Штатов. Кто может сказать, каково должно быть окончательное правовое положение Украины, пока неизвестен характер будущей России, в зависимости от которого этот вопрос придется решать? Что касается государств-сателлитов, то они должны вновь обрести и несомненно обретут полную независимость; но и они не обеспечат своей устойчивости и будущего процветания, если они станут на ложный путь, отдавшись чувству мести и ненависти к русскому народу, который вместе с ними разделял их трагическую судьбу, и будут пытаться построить свое будущее на своекорыстном использовании первоначальных затруднений нового русского режима, руководимого добрыми намерениями и борющегося с наследием большевизма.

Напрасно было бы недооценивать всю болезненную трудность этих территориальных проблем, даже если допустить наличие максимальной доброй воли и спокойной терпимости со

стороны всех затронутых ими народов. Некоторые меры, осуществленные в конце Второй мировой войны, дурные последствия которых с тех пор усугублены преднамеренной политикой некоторых правительств, направленной к преждевременному превращению временного устройства в постоянное, представляют собой явно нездоровые основы, никоим образом не благоприятствующие упрочению мира. Рано или поздно эти решения придется пересмотреть и тогда все заинтересованные стороны должны будут проявить почти невероятную тактичность и долготерпение, чтобы произвести необходимые перемены без нового разжигания страстей и горьких обид. За это безотрадное положение народы Европы могут поблагодарить как большевиков с их расчетливым цинизмом, так и западные державы с их благосклонным попустительством.

Один из наиболее выдающихся немецких оппозиционеров гитлеровского времени, писавший своему другу в Англии с риском для жизни, сказал в своем письме, между прочим, следующее: *Послевоенная Европа представляется нам не столько в свете вопросов о границах и солдатах, о громоздких организациях и грандиозных планах, сколько в свете вопроса о том, как восстановить человеческий образ в сердцах наших сограждан.*

Увы, нацистская виселица не пощадила этого человека для настоящего и будущего; он был прав, и у него была смелость; такого духа люди будут насущно необходимы для того, чтобы судьба области, простирающейся от Эльбы до Берингова пролива, стала более счастливой в будущем, чем она была до сих пор. Американцу, желающему оказать благотворное влияние в этой части света, не мешало бы повлиять на своих друзей из стран за железным занавесом, если у него таковые имеются –

в том смысле, что им, или кому бы то ни было, пора перестать нудно и бесплодно спекулировать на так называемых национальных границах и патриотических чувствах сбитых с толку языковых групп, – т.е. прекратить то, что в этих краях в прошлом сходило за проявление государственной мудрости. Есть вещи более важные, чем вопрос о том, где проходит та или иная граница; среди них главную роль играет проявление терпимости по обе стороны границ, зрелое суждение, смирение перед страданиями прошлого и проблемами будущего и сознание, что ни одна из проблем, стоящих перед любым европейским народом, не будет разрешена целиком или даже в основном – в пределах национальных границ данного государства.

Вот, следовательно, то, что благожелательный американец вправе ожидать от будущей России: что она поднимет навсегда железный занавес; что она признает некоторые ограничения правительственной власти во внутренних делах и что она откажется от устаревшей игры в империалистическую экспансию и порабощение, как от пагубной и недостойной политики. Если она не пожелает идти по этому пути, – она будет мало чем отличаться от того, что мы имеем перед собою теперь, и ни одному американцу не стоит задумываться над тем, как ускорить приход в мир такой России. Если же она будет готова сделать все это, американцам ни к чему будет глубже интересоваться вопросом о ее природе и целях; основные требования более устойчивого мирового порядка будут удовлетворены, и те вопросы, по которым иностранцы могут с пользой для дела высказывать свои мысли и давать свои советы, будут исчерпаны.

Таков образ России, какой мы желали бы ее видеть. Но как же мы, американцы, должны вести себя для того, чтобы

содействовать воплощению такой России или, по крайней мере, наибольшему к нему приближению?

В наших размышлениях на эту тему мы должны тщательно отделять вопрос о прямом воздействии, т.е. о таких наших действиях, которыми мы непосредственно затрагивали людей и определяли события за железным занавесом, – от вопроса о воздействии косвенном, понимая под этим такие действия, которые бы скорей касались нас самих или наших отношений с другими народами и, следовательно, лишь косвенно и в отдельных случаях могли бы касаться советского мира.

Как это ни прискорбно, при настоящем мировом положении вопрос о прямом воздействии со стороны американцев приходится рассматривать в свете возможности войны или продолжения существующего состояния малой войны. К сожалению, приходится начать с первой из этих возможностей, так как именно она настойчиво тревожит сейчас сознание многих людей.

Итак, если война окажется неизбежной, – что мы, американцы, можем сделать для содействия возникновению более желательной для нас России? Прежде всего мы должны сохранить в наших умах ясным и определенным образ этой желательной для нас России и приложить все усилия к тому, чтобы военные действия не помешали воплощению в жизнь этого образа.

Первая часть этой задачи носит негативный характер: нас не должны отвлекать несущественные или сбивающие нас с толку формулировки военных целей. На этот раз мы должны будем избежать тирании лозунгов. Мы не должны поддаваться наваждению тех высокопарных, не имеющих ничего общего с реальностью или даже бессмысленных фраз, назначение которых заключается лишь в том, чтобы как-то примирить нас с творимым нами кровавым и страшным делом.

Мы должны помнить, что война есть дело разрушительное, ожесточающее человека, требующее жертв, вызывающее разлуку с близкими, распад семьи и ослабляющее внутренние ткани общества; что война есть процесс, который сам по себе не может привести ни к чему положительному; что даже военная победа в состоянии служить лишь предварительной базой для дальнейших положительных достижений, которые она может сделать возможными, но которые она ни в коем случае не может обеспечить.

Мы должны будем на этот раз, вооружившись моральным мужеством, постоянно напоминать себе, что, с точки зрения наших культурных ценностей, насилие в международном масштабе является всеобщим банкротством даже для тех, кто уверен, что он борется за правое дело; что все мы – побежденные и победители одинаково – обречены на то, чтобы выйти из войны обедневшими и еще более далекими от достижения тех целей, которые мы себе ставим; что как с победой, так и с поражением связаны почти равные бедствия и что даже самая блестящая военная победа не может дать нам право смотреть в грядущее с иными чувствами, чем горе и унижение за свершившееся, чем сознание того, что путь, ведущий к лучшему миру, долог и труден и что он был бы не так труден и долог, если бы нам удалось избежать военной катастрофы.

Если мы будем помнить все это, у нас будет меньше склонности рассматривать военные операции, как самоцель, и нам будет легче вести их так, чтобы они соответствовали нашим политическим целям. Если нам придется поднять оружие против тех, кто теперь правит русским народом, мы должны будем избегать всего, что заставило бы русский народ видеть в нас его врагов, и мы сами не должны считать, что русские люди наши враги. Мы должны будем постараться объяснить русскому народу, что те

страдания, которые мы вынуждены ему причинять, вызваны только силой необходимости. Мы должны будем дать ему убедительные доказательства нашего сочувственного понимания его прошлого и нашего интереса к его будущему. Мы должны будем дать почувствовать русскому народу, что мы на его стороне и что наша победа – если мы победим – будет использована так, чтобы предоставить ему возможность самому создать для себя более счастливую жизнь, чем та, которую он знал в прошлом. Для всего этого – самое важное, чтобы мы не забывали о том, какой Россия была и какой она может быть, и не позволяли политическим разногласиям затуманивать этот образ России.

Трудно определить, в чем именно заключается величие той или иной нации. Каждый народ состоит из множества отдельных людей, а среди отдельных людей, как известно, нет единообразия. Некоторые из них привлекательны, другие неприятны; одни – честные люди, другие – не вполне; одни сильны, другие слабы; одни вызывают восхищение, другие у всех вызывают любое чувство, кроме восхищения. Все это верно как в отношении нашей родины, так и в отношении России. Поэтому так трудно сказать, в чем заключается величие народа. Одно можно сказать с уверенностью: оно редко заключается в тех качествах, которые, в сознании самого народа, дают ему право верить в свое величие; ибо в народах, как и в отдельных людях, подлинно выдающиеся достоинства обычно бывают не те, которые они сами любят себе приписывать.

И все же национальное величие несомненно существует; несомненно и то, что русский народ обладает им в высокой степени. Путь этого народа из мрака и нищеты был мучительным, он сопровождался безмерными страданиями и прерывался тяжелыми неудачами. Нигде на земле огонек веры в человеческое

достоинство и милосердие не мерцал так неровно, сопротивляясь налетавшим на него порывам ветра. Но этот огонек никогда не угасал; не угас он и теперь даже в самой толще России; и тот, кто изучит многовековую историю борения русского духа, не может не склониться с восхищением перед русским народом, пронесшим этот огонек через все страдания и жертвы.

История русской культуры свидетельствует о том, что эта борьба имеет значение, выходящее далеко за пределы коренной русской территории; она является частью, и притом исключительно важной частью, общего культурного прогресса человечества. Чтобы в этом убедиться, стоит только посмотреть на уроженцев России и людей русского происхождения, проживающих в нашей среде, – инженеров, ученых, писателей, художников. Было бы поистине трагичным, если бы под влиянием возмущения советской идеологией или советской политикой мы превратились в соучастников русского деспотизма, забыв о величии русского народа, потеряв веру в его гений, в его способность творить добро, сделавшись врагами его национальных чаяний. Жизненное значение всего этого становится еще более ясным при мысли о том, что мы, люди западного мира, верящие в принципы свободы, не можем одержать победу в борьбе с разрушительными силами советской власти, не имея на своей стороне русский народ в качестве добровольного союзника. Это относится одинаково и к мирному времени, и к войне. Немцы, сражавшиеся, правда, не за дело свободы, познали к собственному несчастью невозможность одновременной борьбы с русским народом и с советским правительством.

Главная трудность здесь, конечно, заключается в том положении безмолвной беспомощности, в котором находится русский народ под властью тоталитарного режима. Наш опыт с Германией

показал, что мы как нация не слишком хорошо справились с задачей вникнуть в положение человека, живущего под игом современного деспотизма. Тоталитаризм – не национальное явление; это болезнь, которой в какой-то мере подвержено все человечество. Оказаться во власти такого режима есть несчастье, которое может постигнуть любую нацию в результате чисто исторических причин и которое нельзя связать ни с какой определенной виной данного народа в целом. Где только обстоятельства ослабляют силу сопротивления до известной критической степени, вирус тоталитаризма может восторжествовать. Для того, чтобы в условиях тоталитаризма личная жизнь могла хоть как-нибудь продолжаться, она должна быть налажена путем какого-то соглашательства с режимом и при некотором принятии его целей. Более того, неизбежно, чтобы в некоторых областях тоталитарному правительству удалось отождествить себя с народными чувствами и стремлениями. Отсюда возникает неизбежная сложность взаимоотношений между гражданами и властью во всяком тоталитарном режиме: они никогда не бывают прямолинейно простыми. Тот, кто всего этого не понимает, не может понять и всей серьезности вопроса о наших отношениях с народами таких стран. Реальность опровергает излюбленное нами представление о том, что народ тоталитарного государства может быть точно и без остатка разделен на коллаборантов и мучеников. Пережив тоталитарный режим, люди не могут остаться невредимыми; когда они выходят на свободу, они нуждаются в помощи, в руководстве и в понимании, а не в выговорах и проповедях.

Безрассудное негодование, направленное против целого народа, никуда не ведет. Нужно подняться выше этих упрощенных детских представлений и воспринять трагедию России, как отчасти и нашу собственную трагедию, а в русском народе

признать нашего сотоварища в долгой и тяжелой борьбе за лучший порядок, при котором люди нашей беспокойной планеты могли бы жить в мире друг с другом и в согласии с природой.

Таковы общие соображения относительно того, что нам следует делать в том случае, если вопреки нашим надеждам и желаниям, война, о которой столько говорится, окажется неизбежной. Но что если теперешнее состояние отсутствия большой войны будет продолжаться? Какой курс нам взять в таком случае?

Прежде всего спросим себя, есть ли основание надеяться, что при этом положении вещей в России могут произойти те перемены, о которых говорится в этой статье? Для ответа на этот вопрос объективных критериев не имеется. Нет положительных указаний ни в ту, ни в другую сторону. Ответ на этот вопрос может быть основан отчасти на оценке обстоятельств, отчасти же он будет просто актом веры. Автор этой статьи лично убежден, что ответ должен быть положительным: то есть, что мы действительно имеем основание надеяться и полагать, что такие перемены могут произойти. Но все, что можно сказать в подтверждение этого взгляда, сводится к следующему: не может быть подлинно устойчивой система, базирующаяся на отрицательных и слабых сторонах человеческой природы, – система, пытающаяся жить за счет унижения человека, питающаяся, как коршун, его страхом и ненавистью, его неразумностью и подверженностью психологическому воздействию. Такая система отражает лишь чувство бесплодности и озлобленность создавших ее людей и холодный ужас тех, кто по слабости характера или по недалекновидности сделались ее агентами.

Я не говорю здесь о русской революции, как о таковой. Она была более сложным явлением, с более глубокими корнями в логике исторических событий. Я говорю о том процессе, в ре-

зультате которого нечто, претендовавшее на звание благоприятного поворота в человеческой истории, нечто, утверждавшее, что оно ведет не к увеличению, а к уменьшению суммы человеческой несправедливости и угнетения, выродилось в жалкое чистилище полицейского государства. Только люди с глубоким сознанием личной неудачи могут находить удовлетворение в причинении другим тех страданий, которые неотделимы от подобной системы; и тот, кому случалось заглянуть глубоко в глаза агента коммунистической полиции, мог найти в этом темном колодце дисциплинированной ненависти и подозрительности огонек отчаянного страха, который и является доказательством моего утверждения. Те, кто пытается сначала прикрыть личное властолюбие и жажду мести чудовищным обманом и упрощенством, свойственными тоталитаризму, кончают тем, что вступают в борьбу против самих себя, в унылую безнадежную борьбу, которую они проектируют на подвластных им людей, делая полем битвы счастье и веру этих последних.

Возможно, что близкие помощники этих людей унаследуют их власть, а с нею и разгоревшиеся в борьбе страсти. Но процесс наследования не может пойти дальше этого. Люди могут двигаться как бы в силу привычки, в результате эмоциональной инерции, полученной ими от других, но они уже не в состоянии передать ее дальше. Импульсы, повергающие людей одного поколения в мрачное разочарование в себе самих и в народных массах, в которых они ищут свое отражение, становятся со временем все менее привлекательными для последующих поколений. Жестокость, ложь, бесконечное издевательство над человеком, практикуемое в концентрационных лагерях, – все эти атрибуты полицейского государства, возможно, и имеют вначале зловещую притягательную силу, вроде той, которую опасность и анархия имеют для живу-

щего налаженной и спокойной жизнью общества; но рано или поздно они надоедают всем, как надоедает приевшаяся, однообразная порнография, – включая и тех, кто этому предавался.

Многие из слуг тоталитарной власти, унижившие себя больше, чем они унижали свои жертвы, зная, что они отрезали себе путь к лучшему будущему, могут, правда, цепляться в отчаянии за свою непривлекательную службу. Но деспотизм не может держаться только на страхе своих тюремщиков и палачей, он должен иметь за собой движущую политическую волю. В те времена, когда деспотическая власть была тесно связана с какой-либо династией или с наследственной олигархией, такая политическая воля могла быть более постоянной. Но в то же время она должна была относиться с более благожелательным и творческим интересом к народу, над которым властвовала и трудами которого питалась. Династическая преемственность заставляла ее признавать свои обязательства по отношению к будущему в такой же мере, как к настоящему и прошлому.

Современное полицейское государство не обладает этими свойствами. Оно представляет собою лишь ужасающую судорогу общества, вызванную толчком данного исторического момента. Общество может глубоко и мучительно пострадать от этой болезни, но так как общество есть своего рода организм, подвергающийся переменам, обновлению и приспособлению, оно не может остаться больным навсегда. Бурные потрясения, вызвавшие судорогу, постепенно начнут терять свою силу. Инстинкт, влекущий к более здоровой и более содержательной жизни, начнет брать верх.

Таковы соображения, которые дают автору этой статьи основание верить, что, если перед русским народом будет найдется пример возможных перемен в его жизни, в виде существо-

вания в другой части земного шара достаточно привлекательной цивилизации, питающей в людях надежду и ставящей перед ними положительные цели, – то рано или поздно наступит день, когда, путем эволюции или иным путем, та ужасная система власти, которая отбросила на много десятилетий назад прогресс великого народа и навела густую тень на чаяния всего цивилизованного мира, перестанет быть реальностью. Память о ней останется частью в исторических анналах, а частью в тех отложениях, которые всякое великое потрясение, как бы ни были печальны другие его проявления, оставляет после себя в человеческой истории, в форме конструктивных органических изменений.

Как именно произойдет перемена – предугадать невозможно. Если вообще существуют законы политического развития, то, конечно, они тут скажутся; но это будут особые законы развития, присущие феномену современного тоталитаризма, а эти законы еще недостаточно изучены и поняты. Независимо от того, существуют такие законы или нет, дальнейшее развитие будет в значительной мере обусловлено еще и национальным характером русского народа, и тем элементом случайности, который несомненно играет огромную роль в событиях человеческой жизни.

При таком положении вещей мы вынуждены признать, что пока мы видим будущий политический строй России неясно, как бы сквозь матовое стекло. Судя по тому, что видно на поверхности, мало оснований надеяться, что желательные перемены во взглядах и образе действий московского правительства могут произойти без насильственного перехода в преемственности власти, то есть без насильственного ниспровержения строя. Но в этом не может быть никакой уверенности. Случались более странные вещи, хотя и не настолько уже более странные. Во всяком случае не наше дело заранее предрешать этот вопрос.

Для целей согласования нашей политики с нашими интересами нам вовсе не необходимо принимать решения относительно того, о чем мы явно не можем быть надлежащим образом осведомлены. В этом случае мы должны считаться со всеми возможностями, не упуская из виду ни одной из них. Главное – это сохранить в мыслях ясный образ России, какой мы желали бы ее видеть в качестве одного из действующих лиц на мировой арене, и руководствоваться этим образом при всех наших сношениях с различными русскими политическими течениями, включая и то, которое сейчас находится у власти, и те, которые представляют собою оппозицию. И если России суждено будет обрести свободу путем постепенного распада деспотизма, а не путем бурного прорыва наружу сил свободы, – мы хотим иметь право сказать, что наша политика содействовала такому ходу событий и что мы не мешали ему своей предвзятостью, нетерпением или отчаянием.

В одном мы можем быть уверены: никакие радикальные и прочные изменения в духе и практике русского правительства не могут произойти главным образом в результате призывов и советов, исходящих от иностранцев. Русский народ должен сам взять на себя инициативу и произвести эти изменения собственными усилиями. Только тогда они будут подлинными, прочными и достойными тех надежд, которые возлагают на них другие народы. Только люди с поверхностным знанием механизма истории могут думать, что иностранная пропаганда и агитация может вызвать коренные изменения в жизни великого народа. Люди, говорящие о свержении советского строя путем пропаганды, в доказательство своей мысли приводят интенсивную деятельность советского пропагандистского аппарата и указывают на различные аспекты советской подрывной работы во всем мире – работы, руководимой, вдохновляемой и поощряемой Кремлем. Но эти люди забы-

вают, что для этой советской деятельности, продолжающейся с неустанной энергией вот уже тридцать три года, наиболее характерна ее безуспешность. В конечном счете почти во всех случаях для фактического распространения советской системы потребовалось военное давление или вторжение. На это могут возразить: а Китай? Разве Китай не составляет исключения из общего правила? Однако, нам неизвестно, в какой мере Китай действительно стал частью советской системы, а приписывать китайскую революцию последних лет главным образом советской пропаганде или советскому влиянию, значило бы, по меньшей мере, сильно недооценивать целый ряд других, весьма важных, факторов.

Всякая попытка одного народа говорить непосредственно с другим народом о политических делах последнего – способ действий сомнительный, грозящий возникновением недоразумений и обид. Это особенно верно в тех случаях, когда дух и традиции обоих народов различны и когда политическая терминология почти непереводаима. Сказанное здесь отнюдь не умаляет значения "Голоса Америки", роль которого в отношении России заключается в том, чтобы как можно более точно отражать общую атмосферу и настроения Америки, давая советскому гражданину возможность составить свое беспристрастное о них суждение. У нас могут быть свои собственные мысли и надежды относительно того, какие выводы для себя сделает советский гражданин, знакомясь с американской жизнью по передачам "Голоса Америки" или по сведениям из других источников; мы можем представить себе, как мы бы стали поступать на его месте, получив такую информацию; но было бы ошибкой с нашей стороны, на основании всего этого, попытаться прямо подсказывать ему, что он должен делать в условиях окружающей его политической действительности. Мы будем невольно

говорить с ним нашим, а не его языком и нам будет легко впасть в ошибку при оценке его проблем и его возможностей. В соответствии с этим, наши слова будут иметь для него совсем другой смысл, чем тот, который мы хотели бы в них вложить.

По этой причине самым важным видом влияния, которое Соединенные Штаты могут оказать на развитие внутренней жизни России, останется влияние примером – примером Америки, какой она есть, не только в представлении других народов, но и на самом деле. Это не значит, конечно, что теряют свою несомненную важность и многие другие вопросы, стоящие сейчас в центре общественного внимания: вопросы о нашей материальной силе, о наших вооружениях, о нашей решимости или о нашей солидарности с другими свободными народами. Не устраняет это и настоятельной и первостепенной нужды в мудрой и искусной внешней политике, ставящей своей целью развязать и сделать действенными все те силы в мире, которые совокупно с нашей собственной силой, могли бы убедить кремлевских владык в том, что их грандиозные планы тщетны и невыполнимы и что упорство, с которым они настаивают на этих планах, не поможет им разрешить собственные их трудности и задачи.

Наоборот, не может быть никакого сомнения в том, что все эти вопросы должны стоять на первом плане, если мы хотим избежать войны и выиграть время для того, чтобы начали действовать более надежные факторы. Но все эти намечаемые нами меры останутся бесплодными и негативными, если не придать им смысла и содержания, основанного на чем-то, что идет глубже и дальше, чем простое предотвращение войны или пресечение империалистической экспансии. С этим как будто все согласны. Но в чем заключается это что-то? Многие думают, что вопрос в том, к чему мы должны призывать других, т.е.

иными словами, вопрос внешней пропаганды. Я же считаю, что это прежде всего вопрос о том, что мы должны требовать от самих себя. Это – вопрос о самом духе и смысле американской национальной жизни. Любое слово, с которым мы обратимся к человечеству, может стать действенным лишь в том случае, если оно будет отражать нашу внутреннюю жизнь и если эта последняя будет достаточно внушительна для того, чтобы вызвать уважение и доверие со стороны мира, который, несмотря на все материальные трудности, все еще готов ставить духовные ценности выше материального благополучия.

Достижение такого положения в нашей национальной жизни должно быть нашей первой и главной заботой. Напротив, нам надо меньше заботиться о том, чтобы убедить другие народы в наших достижениях. В жизни народов подлинные достижения не бывают и не могут остаться непризнанными. Торо писал: *Нет такого зла, которое не могло бы быть рассеяно, подобно тьме, если вы обратите на него луч яркого света... Если же свет будет исходить от убогой малой свечи, почти все предметы станут отбрасывать тень более длинную, чем они сами.* И обратно: если наш свет будет достаточно ярким, можно не сомневаться, что лучи его проникнут в русские пространства и когда-нибудь помогут рассеять нависший над ними мрак. Никаким железным занавесом нельзя будет заглушить, даже в самой глубине Сибири, весть о том, что Америка сбросила с себя оковы разлада, замешательства и сомнений, что у нее появились новые надежды и новая решимость и что она приступила к разрешению своих задач с энтузиазмом и с ясным осознанием своих целей.

ISBN 978-5-9506-0451-5



9 785950 460451 5

Подписано в печать 15.09.2009 г. Формат 60x90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 9,5. Заказ 1335. Тираж 500 экз.

Отпечатано ЗАО «Экон-Информ»
129329, Москва, ул. Ивовая 2. Тел. (499) 180-9305